

33850

БАНД. ВАСИЛЬЕВСКАЯ.

Просто
ЛЮБОВЬ.



ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано:	Следует читать:
32	13 снизу	она каждый день возвра- лась домой, шла к трамваю,	она сообража- ла: собственно говоря, поче- му? Ведь
66	1 снизу	слова, и не по- хожие на них.	словъ, и не по- хожее на них.

Просто любовь

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

ПРОСТО ЛЮБОВЬ

Перевод с польского

Е. Усиевич



О Г И З

Государственное издательство
художественной литературы
Москва 1945

Мария сняла белый больничный халат. Отвернула крап — вода полилась тоненькой струйкой. Двадцатичетырёхчасовое дежурство заканчивалось. За окном было ещё темно, но очертания деревьев уже выступали на чуть бледнеющем фоне неба. Мария дружеским взглядом приветствовала новый день. Ей подумалось, что хорошо было бы вернуться домой пешком, если бы не этот дождь. А может, всё же выйти, почувствовать на лице прохладные капли, весёлый ветер, послушать, как хлюпают под ногами лужи? Когда-то в детстве она любила такую погоду. Она выбегала из дому в грозу, в дождь и чувствовала необузданную радость оттого, что ветер рвёт её платье, что её хлещут струи дождя, что вода стекает по растрёпанным волосам, что капли скачут по лужам. Разумеется, дома потом всегда ждал скандал, и мать без конца ворчала на тему о промоченных ботинках, о платье, которое теперь сядет, о ленте, которая никуда не будет годиться.

Но снова ветер и дождь; и снова они зовут, манят безумствовать, с криком бегать по двору, в упоении подставляя лицо под холодный бич дождя.

Мария улыбнулась. Да, это в ней осталось. Дикае инстинкты, как говорила мать. Но теперь действительно приходится щадить обувь. Одна-единственная пара, сильно уже утомлённая жизнью. Придётся ехать трамваем, как обычно. И спать, спать, спать! Отоспаться за все двадцать четыре часа!

Дверь распахнулась.

— Идём, Мария, идём, он опять кричит, он так страшно кричит.

Мария торопливо вытерла руки, опять надела халат. Нетерпеливо оборвала запутавшиеся завязки.

— Я очень извиняюсь, ты, наверно, страшно устала, но...

— Глупости говоришь, Рая, идём.

Длинный коридор, устланный тёмнокрасной дорожкой. Приоткрытые двери палат. Запах медикаментов. Кого-то несли на носилках, кто-то торопливо бежал в операционную.

— Я с ним ничего не могу поделать,— пыталась объяснить Рая, беспомощно разводя руками. Но Мария не слушала. Она открыла дверь в маленькую комнату и быстро прикрыла её за собой. Две санитарки, наклонившись над койкой, держали раненого, наперебой ему что-то объясняя. Раненый рвался у них из рук — белая мумия, обмотанная бинтами.

— Не хочу, не хочу, слышите, не хочу! Не надо мне вас, никого мне не надо! Уходите вон, стервы!

Мария тихонько подошла и положила ему руку на обмотанную бинтами голову. Из-под белых толстых слоёв марли на неё мрачно взглянул тёмный глаз.

— Чего? — буркнул раненый, но она заметила, что он узнал её и сразу притих, перестал метаться.

— Что ты выделываешь! Как тебе не стыдно? Как можно так?

Она кивнула головой санитаркам, чтобы те ушли. Они поняли и бесшумно исчезли за дверью.

— Я уже сто раз говорил... Говорил ведь. Правда?

Голос повышался, звенел, в нём слышались угрожающие нотки, готовые перейти в истерический крик.

— Что это ты там такое умное говорил?

— Не хочу! Не хочу я ваших перевязок, ва...

вспрыскиваний, ваших операций, докторов, больниц! Не хочу! Какое вы имеете право, кто вам разрешил? Я не хочу!

Она присела на стул у койки, не снимая рук с бинтов, окутывающих его голову.

— А чего же ты хочешь, упрямец?

— Ничего не хочу, ничего, слышите? Я хочу умереть, я имею на это право. Зачем вы измываетесь надо мной?

— Это очень просто — умереть, — сказала она тихо. — Конечно, жить труднее. Но ты должен жить, ты будешь жить.

— А я вот не хочу. Зачем вы сидите здесь, сестра, теряете время, приставляете ко мне сторожей? Тюрьма это, что ли? Я вас спрашиваю — тюрьма?

Осторожно, с нежностью, она провела рукой по белым бинтам, мягко улыбаясь ему. Из-под перевязок на неё внимательно смотрел пылающий единственный глаз.

— Вчера ты сорвал перевязки. Хочешь повредить себе. Тебе нет дела до того, что мы огорчаемся из-за тебя, хотим тебе помочь. Ты упрямый, капризный мальчик. Поэтому вот и приходится сторожить тебя.

— Ох, какое это...

Он успокоился, замолк на минуту. Мария ждала.

— А вы скажете мне правду, но только правду, чистую правду? — спросил он вдруг.

— Постараюсь.

Он соображал, собирался с мыслями, попытался сформулировать вопрос.

— Вы мне не скажете правды, сестра. Но вот подумайте. Если бы с вами случилось такое... Лежите вы в госпитале, слепая...

— Ты не слепой, — сказала она сурово.

— Ну, на один глаз, всё равно... Значит, без

глаза, без руки, без ноги. Захочется вам тогда жить, а? Захочется?

Он насмехался злобно, упрямо, и тёмный глаз пылал лихорадочным огнём.

— Только правду, одну правду. Если вы вообще можете без обмана.

— Я скажу тебе правду,— ответила Мария спокойно.— Ляг как следует. Дай-ка поправлю подушку, вот так. Теперь слушай...

Она взяла его горячую руку. Он лежал спокойно, ожидая.

— Видишь ли, я не могу тебе сказать, как обстояло бы дело со мной. Что бы я чувствовала, чего бы хотела. Быть может, я и желала бы умереть.

— Вот видите!

— Подожди.

Страшная усталость вдруг прошла. Она почувствовала себя полной сид, словно дежурство только начиналось. Нахлынула тёплая волна мыслей о Григории.

— Видишь ли, у меня есть муж. Муж на фронте. Может быть, в этот момент он ранен так же, как и ты. Я скажу тебе правду: если не может быть так, чтобы он вернулся невредимым,— пусть вернётся без рук, без ног, только бы вернулся. Мои руки будут его руками, моими глазами он будет смотреть на свет, только бы он был, только бы он был со мной...

Нет, она говорила не с раненым. Она умоляла судьбу, историю, беспощадный мир, чтобы Григорий вернулся. Ах, услышать ещё раз его голос, увидеть его улыбку, коснуться его рук, служить ему, быть возле него... Снова почувствовать высокую волну счастья, заливающего сердце, глубочайшее доверие, назурный покой, охватывающий душу. Снова подумать о том, что вот есть величайшее счастье, навеки свой человек, что он не затерялся на далёких путях войны, пришёл, что вот они снова вместе. Какое же

тут значение имело бы... Нет, нет она бы объяснила ему, сумела бы убедить его, помочь ему так, как он помогал ей сотни раз...

— Это правда?— строго спросил раненый, и мрачный глаз впился взглядом в её просветлённое лицо.

— Да. Это правда,— торжественно подтвердила она, словно присягая.— Это чистая правда.

Он смотрел теперь в потолок.

— А то у меня, знаете, сестра, есть девушка...

Да, конечно. Теперь она поняла, что сказала то, что нужно. Она дала ответ именно на то, что его больше всего мучило.

Раненый поднял руку и беспомощно пошевелил ею перед лицом.

— Что тебе?

— Под подушкой... Тут, под подушкой...

Она протянула руку. Зашелестела бумага. Конверт, склеенный из страницы школьной тетради. Расплывшиеся лиловые буквы адреса.

— Письмо выньте, сестра.

Небольшой замусоленный клочок бумаги.

— Читайте, сестра. Вслух.

Она разгладила на колене сгибы. Химический карандаш расплывался пятнами.

«Дорогой мой Вася! Кланяюсь тебе от всего сердца, и мама, и сестрёнка Фрося, и тётка, и все соседи. Я очень рада, что уже знаю, где ты, знаю твой адрес. Почему ты не пишешь, куда тебя ранило? Так я тебе хочу написать, что, как бы ни было, я всё равно за тебя пойду, так ты мне напиши, куда тебя ранило, и хоть бы ты стал инвалидом, так ты не думай, потому что всё равно, я всегда такая же, как была, так я тебе пишу, чтобы ты ничего не забирал в голову, а только напиши. У нас дома всё по-старому, твои родители тоже живы-здоровы, и только все ждём тебя, так ты напиши, пойдёшь ли ещё на фронт или уже домой, а если

надо, так я за тобой приеду, потому что твоим родителям трудно, а я приеду. И кланяюсь тебе ещё раз и жду письма, до свидания. Твоя Оля».

Мария старательно сложила истрёпанный листок. В широко открытом, устремлённом в потолок глазу раненого появился влажный блеск.

— Ну вот видишь,— сказала Мария.— Я тоже говорила...

— Так вы думаете, сестра?..

— Какой ты, право! Ведь пишет же тебе Оля...

— Да, конечно... Но вот я думаю... Может, это так, а когда я приеду...

— Нет, нет, это же ясно. Что ты, не читал письма, что ли?

— Как не читал? Читал... И вчера, и сегодня... А всё-таки...

— Эх, глупенький, чего бы она тогда стоила, твоя девушка? Приедешь, будете вместе работать...

— Какая уж тут работа...— горько усмехнулся он.

— Сделают тебе протезы, будешь работать. Жена поможет, дети будут — помогут.

— Дети...

— Ну, конечно. А теперь надо только лежать спокойно, чтобы всё скорее зажило. Чтобы скорее домой, к Оле. Будешь лежать спокойно?

— Когда так — буду...

— Врачей будешь слушаться?

— Ладно уж...

— То-то и оно. А скандалить и сестёр разными словами обзывать нечего.

Он сконфузился.

— Как бы это теперь... Может вы, сестра, скажете им? А то как-то...

— Нет, ты сам извинись. Смотрите, какой, обругать он может, а извиниться, так — «может, вы, сестра»...

— Тогда я уж сам...

— Конечно, сам. Ну, так я пойду, а ты спи, и чтобы больше скандалов не было!

Только на лестнице Мария заметила, как уже поздно. Она торопливо застёгивала пальто. В сердце огоньком горела радость, словно далёкий привет от Григория, словно сердечное пожатие его загорелой руки. Она быстро сбежала с лестницы. В вестибюле она наткнулась на Воронцова.

— Всё ещё здесь?— удивился он.

— Я немного задержалась.

Они вышли вместе в светлеющий сумрак улицы, в прохладный ветер, под капли дождя. В вышине виделось светлеющее небо, но здесь, между домами, внизу, ненастный рассвет ещё не рассеял мрака. Мария споткнулась.

— Дай-ка руку, темно ещё, а тут везде ухабы.

Она оперлась на его руку и вдруг почувствовала, что страшно устала. Вдали мелькнул голубой огонёк, шёл трамвай. Воронцов помог ей сесть в переполненный вагон.

— Ты очень устала?

— А что?

— Если бы ты пригласила меня на чашку чая, прежде чем ляжешь спать, я бы не отказался.

Она улыбнулась.

— Так, может, доктор соблаговолит посетить мою убогую келью? Чай ожидает меня, попьём вместе.

— Великолепно. Страшно не хочется возвращаться домой. Брр, какое утро!

Трамвай погромыхивал и скрежетал, качался на поворотах, и в такт его движениям колыхалась, качалась человеческая масса, плотно наполняющая вагон. Мария закрыла глаза. Вот они едут трамваем домой, она и Гриша. Гриша обнял её одной рукой, чтобы защитить от толчков. Достаточно немного откинуть

голову, чтобы почувствовать щекой шершавое сукно его пальто.

Старушка, которую кто-то толкнул, пробиваясь к выходу, принялась браниться. Ей грубо ответили. Вот сейчас раздастся весёлый голос Гриши, рассмеётся вся публика, и спор двух раздражённых людей растает в смехе и шутках.

Но Гриши не было. Это Воронцов охранял её от натиска проталкивающихся к выходу людей. Гриши не было. Где-то — кто знает где? — раздаётся теперь его весёлый голос! Где он может быть в это дождливое, холодное, тёмное утро? Быть может, идёт по какой-то неведомой дороге? Быть может, ползёт по болоту, быть может, спит в землянке? Где Гриша?

И снова, как и давеча, у койки раненого красноармейца: хоть и слепой, хоть и без рук, без ног...

— Нам сходить.

Она вздрогнула. С минуту она не могла сообразить, где находится. Ах да, трамвай, здесь остановка.

Они снова побрели по грязи. На фоне пасмурного неба ясно вырисовывались очертания домов. Тёмные ненужные фонари торчали, как лишённые ветвей мёртвые деревья. В квартирах ещё горели огни, слабо пробивающиеся сквозь щели в шторах из тёмной бумаги.

Вот и дом. Она запыхалась, поднимаясь по лестнице. Мертвенно поблёскивали электрические лампочки, обернутые синей бумагой. В их свете лицо Воронцова вдруг показалось старым и помятым.

Мать неохотно подала гостю руку и, не отвечая на приветствие, засемила в кухню.

— Мама, чаю, только погорячей!

— Ещё бы горячего... Прямо не дождёшься тебя. Грею, грею, закипит и опять остынет, а тебя всё нет и нет...

Мария со вздохом облегчения опустилась в ста-

рое, продавленное кресло. Вытянула ноги. Руки безвольно опустилась.

— Ты устала,— тихо сказал он, внимательно глядя на тени, залёгшие вокруг её глаз, возле губ.

— Страшно,— призналась Мария. Ей не хотелось говорить. Отдыхать, отдыхать! Она была рада приходу Воронцова. В его присутствии она чувствовала себя как-то увереннее и безопаснее. Только мать, как обычно, сочла необходимым продемонстрировать свою враждебность к гостю. Защитница Гришиных прав... Да уж действительно, права Гриши нуждаются в защите!...

— Ты чего смеёшься?

— Смеюсь?— удивилась она.— Ах да, правда. Знаешь, я подумала, что мама, пожалуй, играет в доме роль свекрови.

Он бился над зажигалкой. Синий огонёк загорался и тотчас гас.

— Там на столике спички.

Он не мог найти. Она с трудом встала и выдвинула ящичек. Взгляд её упал на фотографию. Это был Гриша. Гриша, как живой, с радостным блеском глаз, с смелым поворотом головы. Гриша...

— Ты оперировал сегодня?

— Да, знаешь...

Она прикрыла глаза. Казалось, что она внимательно слушает. Но она не слышала ни слова. Её охватил полусон, дремота наяву. Издали доносился голос Воронцова, но она не понимала смысла его слов. Она была далеко, около Гриши. Она рассказывала ему о Васе, о его глубоком отчаянии, о письме девушки, о том, как ей помог он, Гриша. По-~~тому~~ что это он помог ей. Он продиктовал слова, которые следовало сказать, снял с неё тяжесть ~~утомления~~, отражение его улыбки на её губах ~~улыбки~~, быть может, сильнее, чем слова. Гриша...

— Не правда ли?— донеслось до неё, и она любезно согласилась:

— Конечно, конечно...

Воронцов продолжал свой рассказ. Слова журчали, как ручеёк. У Гриши был другой голос. Она вдруг услышала тот голос, как наяву. Ясный, кипящий радостью, которая звучала в каждой его нотке даже тогда, когда он говорил о самых обыденных, безразличных вещах.

В коридоре зашлёпали туфли. Татьяна Петровна внесла на подносе чайник и две чашки.

— А вы, мама, не попьёте с нами?

— Я уже пила,— ответила та неохотно и пожала плечами. Нет, ей не нравились эти визиты. Что-то слишком часто появляется у них доктор. И хотя Мария как будто не обращала на него внимания, всё же... Странные визиты в восемь часов утра... Сесть вместе с ними пить чай означало как бы санкционирование того, что ей не нравилось, что она считала неприличным. Шлёпая стоптанными задниками туфель, она вышла в другую комнату и демонстративно закрыла за собой дверь.

— Сахару нет,— сказала Мария, словно об этом нужно было говорить, когда заранее было известно, что сахару нет. Всё, что они получали по карточкам, Татьяна Петровна тщательно припрятывала на какой-то неведомый чёрный день.

— Какие у тебя светлые волосы, Мария,— неожиданно сказал Воронцов.

Она рассмеялась.

— Доктор только что изволил заметить? Какая наблюдательность! Когда я была маленькая, мальчишки приставали ко мне, дразнили меня сивкой. Я страшно огорчалась, думала, что они всегда будут такие белые. Только позже они пожелтели немного.

Нет, он давно знал, какие у неё изумительные, какие светлые волосы. Но сейчас, наливая чай, она

наклонилась так, что сияние стоящей на столе лампы освещало рассыпавшиеся локоны над лбом, превращая их в ореол прозрачной, почти серебристой мглы. Он смотрел на это сияние, на опущенные тёмные ресницы, на прямую линию носа и почувствовал болезненный укол в сердце. Что-то радостное было в каждом её движении, в каждом шаге какая-то вечно живая сила, пробивающаяся из глубочайших источников. Даже когда она была страшно утомлена, когда он встречал её в больничном коридоре, после двадцатичетырёхчасового дежурства, когда голубоватые тени залегали под её глазами, в этом лице была радостная молодость.

Она вносила эту неодолимую молодость в госпитальные палаты и побеждала ею и мрак, и лихорадочные видения, и отчаяние уходящей жизни, и тени надвигающейся смерти, верней и легче, чем старшие, более квалифицированные и опытные сёстры. Что же давало ей эту силу, что пробуждало в ней эту улыбку, которая едва меняла очертания губ, но освещала всё лицо каким-то внутренним светом?

Он не хотел отвечать на этот вопрос. Ведь он уже не в первый раз заметил её многозначительный взгляд, бросаемый на фотографию. Её улыбка была почти отражением другой, мужской улыбки, улыбки Григория. Муж, которого она не видела почти год, был здесь, не покидал её ни на минуту. Она жила его улыбкой, в ней черпала свою силу.

Воронцов медленно помешивал ложечкой в стакане. Она рассмеялась.

— Не надо мешать, сахару там нет,— сказала она тем тоном, каким разъясняла что-нибудь совершенно очевидное упрямому, капризничавшему раненому.

— Нет, я так,— сконфузился он,— чтобы чай скорее остыл, очень горячий,— объяснил он, но ложечку отложил.

Мария дила мелкими глотками, держа чашку в обеих руках. Ах, как хорошо было отдыхать, пить горячий чай, чувствовать, как излучаемое маленькой железной печкой тепло разливается по всей комнате. Если бы ещё не надо было разговаривать. Так не хотелось говорить, трудно было даже шевелить губами, а с другой стороны, ведь невежливо изображать внимание лишь улыбками и кивками головы.

Она включила радио. Да, это самый верный способ. Слушать музыку. Если не правится, можно и не слушать, но говорить больше не нужно.

Поплыла песня. Некогда, много-много лет назад её взрастила далёкая степь, её прошумел ветер над беспредельными лугами, прожурчала река, катящая свои воды в необъятную даль, в огромное шумное море. Мотив воплотился в песню, в человеческий голос, в звонкую, печальную кантилену. Не надо слушать слов. Плывёт песня о Грише, о его весёлой улыбке, о днях счастливой молодости, о яблонях, о ветвях яблони, в которых цвели звёзды в июньские, июльские ночи. О песчаных тропинках в сосновом лесу. О кустах малины, покрытых розовыми ягодами. О словах, которые шептались из губ в губы, из сердца в сердце. О солнечном совместном пути.

Песня умолкла, и вдруг болезненно сжалось сердце. Мария овладела собой. Нет, нет. Гриша есть, он близко, в воздухе ещё раздаётся его смех, звучат его слова. Ещё продолжается крепкое пожатие его загорелой руки с белым шрамом на пальце. А вот скрипка подхватила звук Гришиного голоса, защёлкала соловьиной песней, рассыпалась серебряным водопадом звуков. Гриша, Гриша,— шептало сердце. В нём билась крылышками нетерпеливой, непонятная радость, безграничное счастье, что вот существует Гриша. Быть может, он скитается по далёким дорогам, быть может, лежит в окопе, быть может, идёт в атаку, но он существует, Гриша, Гриша.

— Уже поздно, я пойду,— сказал Воронцов чужим голосом. Она открыла глаза. Будто вернулась из далёкого путешествия, из неведомой страны, где она шла рука об руку с Гришей.

— Поздно?— рассеянно переспросила она.

Он встал. Брови его были нахмурены, губы болезненно кривились. Она не пыталась удерживать его. Хотелось остаться наедине с Гришей.

Воронцов торопливо надевал пальто. Он едва коснулся её руки на прощанье и вышел навстречу пасмурному утру, резкому ветру, пронзительным и колючим каплям дождя. Он подставил им лицо, в душе обзывая себя самыми грубыми словами, сжимая в кулаки засунутые в карманы руки. Переполненный пассажирами трамвай только что отошёл. Он подумал, что так лучше, и большими шагами двинулся по мокрым улицам. Стремительной волной поднимался в нём гнев на самого себя. А потом на Марию. На её светлые, почти прозрачные волосы, на её тонкие, ловкие пальцы, на её сияющую изнутри улыбку, на её звучный голос, даже на её уютную, тихую комнату с фотографией мужа на столике, с фотографией мужа на стене. А потом на этого мужа. На этого Гришу, которого нет целый год и который всё же тут — мелькает в больничных палатах, едет с ней в трамвае, невидимый сидит за столом при свете лампы, не покидает её ни на минуту. Не настолько он глуп, чтобы не понимать, что происходит. Она обращается с ним, как ребёнок с плюшевым медвежонком, добрым мишкой. Ничем больше он для неё и не был. Он знал, чувствовал, кожей, чувствовал желанное присутствие другого. Другой не отсутствовал от неё ни на минуту.

— Я подлец,— сказал он громко и даже вздрогнул. Но на улице никого не было, никто не мог его услышать. Он глубже надвинул шапку на глаза и пошёл быстрее, прорезая наклонённой вперёд

головой ледяные струи дождя. Тем временем Мария медленно поднялась и стала собирать со стола посуду. Зашлёпали туфли, скрипнула дверь.

— Ушёл наконец?

— Ушёл, ведь уже поздно.

— Ещё бы... Сидит и сидит.

— Чем это вам мешает?

— Да что, у него своего дома нет, что ли?

— Вы же знаете, мама, у него здесь никого нет.

— Всё равно, тут ему нечего искать.

Мария рассмеялась.

— Ничего он тут не ищет.

— Я-то знаю, я-то всякое в жизни видала,— ворчала старуха.— Оставь, я и сама соберу, а ты иди спать. Мало того — в госпитале намучишься, а тут ещё гости...

— Ну, какие это гости, выдумаете вы, мама. Пришёл, посидел и ушёл. Неужели вам стакана чаю жаль?

— Глупости болтаешь. Чай...

Мария постелила себе на тахте. Захотелось спать, спать, спать. Броситься в постель одетой, чтобы не надо было стаскивать чулки, расстёгивать платье, чтобы сейчас же, немедленно...

— На что это похоже, сидеть столько времени, у тебя уж и глаза не смотрят.

Татьяна Петровна подошла к стене, вытащила вилку штепселя. Мелодия скрипки оборвалась на половине такта. Песня умолкла.

— Спи, спи, уже день совсем.

У неё не было сил отвсчать, её охватила тёплая, мягкая волна, всё заколыхалось лазурной глубиной, золотой пеной, громкой мелодией, осиянным непонятным блеском. Это был сон, и хотя в нём не было Гриши, Мария знала, что это всё-таки сон о Грише, и золотая волна — это лишь его улыбка, и мелодия — это лишь его голос.

Далеко, далеко заиграли на башне куранты и пробили часы. Сквозь плотно закрытое окно доносились чистые, проникновенные звуки, в Мариином сне они превращались в краски и блеск, в какие-то непонятные, несказанно радостные слова. И так она опускалась на самое дно, где сон был мягкий и пушистый, как сажа, и в нём уже не было ни красок, ни звуков, ни слов, а лишь дающее силу и отдохновение глубокое, молчаливое спокойствие.

Но погружаясь в эту тишину и спокойствие, она отдавала себе отчёт в том, что спит и что, хотя в этом сне нет ни красок, ни звуков, ни форм, каким-то непонятным образом это тоже был сон о Грише.

В этот самый момент капитан Григорий Чернов очнулся от обморока. Ему показалось, что он возвращается из какой-то неизмеримой дали, где с ним что-то случилось. Но что? Он не мог вспомнить. Мир растворялся в ослепительном, гремящем блеске.

А теперь было тихо. Поразительно тихо. Ему подумалось, что эта тишина, верно, и разбудила его. Но он не понимал, что происходит вокруг. Прямо перед его глазами было что-то серое, он различал какие-то продольные полосы, длинные, прямые выпуклости и впадины между ними, одинаковые, однообразно повторяющиеся. Что это такое? Поле, участок? Борозды? Нет, это серо-коричневое пространство не поле. Ведь оно над ним, наверху, каким-то непонятным образом наверху. Словно земля стала болью, словно глядишь из самолёта, когда лётчик де и увиди последний круг над аэродромом, перед тем как сесть. Оно подступало к глазам как-то странно близко, ему казалось, что он косит, рассматривая его. Он хотел отвести голову, чтобы видеть нормально,

но не мог шевельнуться. Что же это такое? Гора на него свалилась, что ли? Или его засыпало? Но ведь он же дышит и чувствует на губах сырость воздуха. Дождь, что ли, идёт? Лицо было мокрое, и его мучительно стягивало. В голове мутилось, ничего невозможно было понять.

В этот момент до его ушей донёсся далёкий, глухой, знакомый звук.

«Орудия», — осознал капитан, и весь мир закружился сразу и стал на своё место. Серо-коричневые холмики и долинки — это были не поля, не борозды, а просто-напросто ткань, чьей-то шинели, кто-то лежал над ним. Осознав это, он ясно рассмотрел её, к нему вернулась способность оценивать размеры и расстояния. И не гора свалилась на него, а просто он лежал под телами убитых. Он заметил ремень пояса, чью-то бессильно свесившуюся руку; подошву сапога, исковерканное дуло винтовки. Что-то мешало видеть, он смотрел только одним глазом. Он попытался вздохнуть глубже, но не мог. Невыносимая тяжесть лежала на груди, придавливала, душила. Что же это такое? Да вот эта страшная боль, места которой он не мог определить. Болело лицо, это наверняка. А всё остальное? Всё остальное словно перестало принадлежать ему, словно слилось в одно с этой грудой тел, которая возвышалась над ним.

Мысли путались, мутились. Он пытался привести их в порядок. Бой, видимо, кончился. Немцев нет. Грохот орудий доносился издали, всё в одном направлении, и капитан Чернов сообразил, что часть продвинулась вперёд. Значит, так, немцев прогнали. Он пытался вспомнить, что произошло с ним самим, но добирался только до момента атаки, а затем всё исчезало в ослепительном свете... Как выяснить,

что у него собственно болит и ранен он или нет? Рукой невозможно шевельнуть, её придавила страшная тяжесть. Шевельнуть бы хоть пальцем, почувствовать самого себя, найти себя в этой груди покойников...

Это не удавалось. Где они, его руки, левая, правая? Видимо, так одеревятели, что ими невозможно шевельнуть. Ноги... хоть бы одним пальцем... Ведь больно же, невыносимо больно, а где — неизвестно. Существовала, жила, думала, работала только голова. Остальное перестало принадлежать ему, стало частью того, что лежало вокруг него и на нём. Словно брёвна. Словно ворох старых тряпок. Кто они такие? Свои? Немцы? В глазу у него темнело, но всё же он рассмотрел цвета — да, это были свои. Ему пришло в голову, что сюда перенесли трупы с поля боя и сложили в одном месте. Но как он сам здесь очутился? Он же не мёртвый — это он знал твёрдо. Очень уж было больно. Как он сюда попал? Значит, был здесь кто-то, собирал тела, переносил их. Когда же это случилось? Между моментом, когда сверкнул ослепительный свет, и другим моментом, когда он увидел шинель, не понимая сначала, на что смотрит, казалось, прошло всего одно мгновение.

Шинели посерели, поплыли вверх и вниз. Григорий почувствовал во рту неприятный, тошнотворный вкус. Он погрузился в колеблющийся серый сумрак, в густой, подвижный, пульсирующий, как что-то живое, туман.

Потом он снова всплыл. Его вызвала из серого сумрака, из необъятного пространства нарастающая злость. Было холодно. Он с усилием повернул голову и увидел, что лежит на земле. У самых его губ началась полоса снега, засыпанного чем-то чёрным, испитанного красным. Дальше голая земля, а потом ва снег, пологий овраг, склон горы, несколько

деревьев. Он попытался припомнить. Верно, горка, знакомая, оттуда они спускались. Куда же все исчезли, куда они девались? Он хотел крикнуть, но из горла вырвался только беспомощный хрип. Ох, как холодно! Ледяная земля, пронизывающая сырость в воздухе.

Вдруг он услышал скрип. Нечеловеческим усилием ещё немного повернул голову. Здесь есть кто-то, он поможет столкнуть эту страшную гору, которая навалилась на него, освободить руки и ноги от сковывающих их пут, снимет эту тяжесть, которая заслоняет глаз и мешает как следует видеть. Санитары, где санитары?

Его взяла злость. Когда не надо, так их полно кругом, а когда нужно, так ни одной собаки. Он снова попытался крикнуть и снова только захрипел. Какой знакомый хрип, но откуда? Да, правда, это был галчонок, галчонок выпал из гнезда и лежал на земле, а когда он взял его в руки, пытался клюнуть его, зашипел, захрипел. Только в его собственном хрипе было меньше воинственности, чем в звуках, издаваемых взъерошенным птенцом.

Опять что-то заскрипело. В поле зрения возникло коричневое пятно. Да это лошадиная морда. Она вынырнула откуда-то снизу, за ней показалась напряжённая, вытянувшаяся спина. Лошадь, видимо, тащила что-то. Потом появилась человеческая голова — это был свой.

Григорий всматривался, пытаясь преодолеть взглядом серый туман, который всё наплывал, стирал все формы, овладевал миром. Григорий вырывался из его липких объятий, с нечеловеческими усилиями преодолевал их.

Лошадь тащила длинные низкие сани. На них лежал человек, с головой укрытый одеялом. Сани целиком показались из оврага и теперь двигались по склону, покрытому ледяной корой. Лошадь шла с

трусом, копыта скользнули, упряжь врезалась в тело. Боец, идущий рядом, понукал её, подпирал плечом, подталкивал сани. Так они добрались до половины склона. И тут лошадь стала медленно, сантиметр за сантиметром сползать назад, вниз, вниз.

Боец кричал и погонял лошадь. Он поддерживал её, пытался помочь. Но он и сам уже скользил по гладкому склону. Они пятились, пятились, медленно, но неотвратно, пока в овраге не исчезли сани, потом человек, потом голова лошади.

Снова море серого тумана. И снова показывается лошадиная голова, за ней голова человека, затем сани. Григорий пристально следил за тем, что происходило на склоне, словно это-то и было самое важное. Вперёд, вперёд — лошадь осторожно ставила копыта, напрягала мускулы, сани двигались вперёд. Григорий ждал. Да, вот опять то же место, лошадь пятилась, соскальзывала вниз, и снова всё исчезало. И снова появлялась лошадь, человек, сани и на санях длинная человеческая фигура, покрытая одеялом. «Везёт раненого», — понял Григорий. В санях, должно быть, лежал тяжело раненный — не заметно было никакого движения, не слышалось ни одного стога.

«Я ведь тоже ранен», — подумал Григорий, и его охватил гнев. Здесь, в двадцати шагах от него, находится человек, и, должно быть, он не один, вот он бьётся с лошадью, бьётся с этими несчастными санями, и ему в голову не приходит оглянуться, посмотреть, увидеть, что вот тут же, в двадцати шагах, лежит человек, которому тоже следует помочь...

Хотя на самом ли деле он ранен? Полной уверенности у него не было. Главное, он не мог двинуться, был зажат в железные клещи. И голос отнялся вдобавок.

А те всё продолжали свой страшный и смешной путь. Один раз они даже перебрались за критиче-

ское место, но через два шага началось то же самое. Боец упрямо подгонял лошадь, лошадь взбиралась по обледеневшей поверхности, и в какой-то момент копыто начинало скользить, лошадь пятилась, сползала в овраг, и снова начинался сизифов труд, отчаянный, безнадежный. Раненый в санях не шевелился, не стонал, возможно, он и не знал, какая борьба идёт за его жизнь. Борьба с обледеневшим, скользким склоном горы. А может быть, он уже умер во время этой мучительной возни на склоне.

«Ну, а если даже умер,— думал Григорий,— красноармеец этого не заметит. Он будет без конца, без конца возобновлять свой непосильный труд, охрипшим голосом проклинать лошадь, умолять её, безуспешно объяснять ей, что ещё один метр, два, пять, а там уж всё будет в порядке. И без конца маленькая косматая лошадка будет напрягать все силы, добираться до какого-то определённого места, а оттуда соскальзывать вниз».

Григорий снова уловил далёкий, гулкий грохот. Слышны были только орудия — ни пулемётов, ни винтовок. Бой, повидимому, удалился на порядочное расстояние. Сколько же времени он лежит здесь? Ему показалось, что с той минуты, когда он увидел сани в овраге, прошло невероятно много времени. Часы? Дни? Нет, не может быть, чтобы дни, ведь ночь ещё не наступила. Хотя, кто знает, возможно, этот серый туман, который то наплывает, то рассеивается, это и есть ночь?

Он не мог оторвать глаз от движущихся фигур на склоне, но очертания их всё более стирались. Лошадь переставала быть лошадью, человек переставал быть человеком, они мелькали на снегу, как огромные тени чего-то неведомого. А быть может, всё это был лишь сон, просто ночь в землянке переуступлением? Просто, он спит и как-то неудобно лёг, это иногда бывает, и вот на него навалился кош-

мар тяжкого сна и душит, давит, не даёт дышать. На склоне никого нет. Как же, ведь это тот склон, который он осматривал, когда они занимали здесь позиции. С верхней койки на него что-то свалилось и давит, давит. Надо проснуться, надо сейчас же проснуться. Ну да, так ведь случается во сне: хочешь кричать, напрягаешься до пота, а голос замирает в глотке, вырывается лишь слабым беспомощным писком, неслышным хрипом... Разумеется, это сон... И этот туман, опять он наплывает, огромный, безграничный, наполняющий собой весь мир, подвижный, болезненный... Непонятным образом туман болел, хотя он ведь был вне его, не имел с ним ничего общего,— и всё же он болел. Григорий удивился, как это может быть. Он вспомнил сероватые выступы и впадины, хотел ещё посмотреть на них, но их уже не было. Был просто лоскут шинели. Увидеть его таким, каким он казался ему сначала, уже не удавалось.

С минуту ему казалось сущей бессмыслицей то, что он лежит здесь. Можно ведь просто встать и пойти, не обращая внимания на эту свалившуюся на него тяжесть. Всё это лишь сон, надо просто встать и пойти. Ох и дураки, ведь никому в голову не придёт, что он так мучится, никто не возьмёт его за плечо, не встряхнёт, не разбудит. Должны ведь они понять...

Вдруг туман расступился, словно кто-то одним рывком разорвал его. Григорий почувствовал мучительную боль и увидел всё с ужасающей ясностью. Нет, это не был сон. Разумеется, бой уже был, ведь утром началось наступление. Они штурмовали деревню на холме, потом снаряд, и он уже не помнит себя бегущим дальше, видимо, этим снарядом его и ранило. Он лежит раненый под телами убитых. Повидимому, их перенесли сюда, в одно место, и его приняли за мёртвого. Там, на склоне, везут раненого. Если бы он мог крикнуть, красноармеец

пришёл бы и помог ему. Но крикнуть он не может.

Нужно ждать. Чего, собственно? Либо кто-нибудь будет проходить мимо, либо просто начнут хоронить погибших и тогда найдут его. Только бы не потерять сознания, чтобы снова не приняли за мёртвого. Весь вопрос только в том, когда сюда придут. Это может быть сегодня, завтра, послезавтра.

Холод становился всё пронзительнее, Григория невыносимо тошнило. Хоть бы знать, куда ранен. Но даже и это невозможно было установить. Кто же окажется сильнее — он, или рана, холод и время?

А время тянулось невыносимо. Ведь не может быть, чтобы это продолжалось так долго, как ему кажется. Там, на склоне, человек всё ещё борется с гололедицей, с лошадыю в отчаянной схватке за жизнь другого человека.

Снова серый туман. Меж ключев этого тумана упрямо всплывают лошадиная голова, охрипший человек, длинная, покрытая одеялом фигура на саях. Вверх — и снова вниз по проклятому, заколдованному склону, который не давал преодолеть себя, не пускал, сталкивал вниз борющегося за жизнь, — сталкивал в смерть.

— Мария, тебя директор зовёт.

— Не знаешь, в чём там дело?

— Понятия не имею. Сказал, чтобы ты пришла.

Напевая, она пригладила волосы перед висящим над умывальником зеркалом. В кабинете директора горела только одна лампа на письменном столе. Он поднял глаза на вошедшую и встал, не переставая перекладывать какие-то бумаги.

— Слушаю, Михаил Никитич.

— Да, да, сейчас... — пробормотал он смущённо и опустил голову. Мария удивилась.

— Что случилось, Михаил Никитич?

— Ничего, ничего...

Он снова поднял на неё глаза, вышел из-за письменного стола и взял её за руки. Это испугало её. Она ещё ничего не подумала, но почувствовала — внезапный холод пробежал по её спине до самых ног, — как стынет кожа на лице.

— Мария Павловна, вы всегда были умной, храброй женщиной.

Она не поняла и вопросительно посмотрела на него, слыша нарастающий шум в ушах. Что это такое? Что происходит?

— Что делать, Мария Павловна... Война...

— Что случилось? — спросила она ещё раз не своим, глухим голосом. Её охватил страшный испуг, непонятный, мертвящий страх. Директор обернулся к письменному столу и взял с него какую-то бумажку.

Тогда её словно молнией озарило. Комната вдруг наполнилась ослепительным светом. Она зашаталась и быстро прислонилась к столу, чтобы не упасть.

«Гриша!» — подумала она именно то, что должна была подумать в первую же минуту, когда вошла в кабинет и увидела смущённый и неуверенный взгляд директора.

— Это вам... письмо...

Она взяла его застывшими пальцами. Это было даже не письмо. Обыкновенное извещение. Сколько она их перевидала с начала войны! Только те извещения не ей были адресованы.

Мария развернула листок. Собственно, незачем было и читать, ведь заранее было известно, что там написано. Она машинально пробежала листок глазами.

Да, конечно. Обычная формулировка: капитан Григорий Иванович Чернов пал смертью храбрых в борьбе за свободу и независимость своей родины.

Она бессознательно смяла в пальцах листок. Директор снова взял её за руку.

— Мария Павловна, нужно быть мужественной...

Она улыбнулась, сама не понимая почему.

— Да, да, понимаю.

И затем:

— Можно итти?

Он кивнул головой, и Мария, не прощаясь, вышла. Длинный коридор, красная дорожка. В проходе валялся окурок. Тоже порядки, на этом этаже вообще нельзя курить, а тут ещё окурки бросают. Она наклонилась, подняла окурок и бросила в стоящую в углу плевательницу. Страшно красная дорожка, она лишь сейчас это заметила. Она резала глаза, раздражала. В больнице не должно быть таких ярких цветов. И какой длинный коридор — она машинально стала считать шаги. Десять, двенадцать... А сколько ступенек в лестнице? Любопытно, что раньше ей никогда не приходило в голову сосчитать... Двенадцать, тоже двенадцать... Кто это? Ах, да, Раиса. Какое смешное имя: Ра-и-са...

— Что случилось? Зачем он вызывал тебя? — спокойно спросила Раиса, убирая в шкафчик инструменты.

— Ничего...

— Как это ничего?

Раиса обернулась и только сейчас заметила странное выражение на лице Марии.

— Что случилось, Маша?

— Ничего...

— Ну что ты говоришь! Какая-нибудь неприятность?

— Неприятность?

Губы Марии искривились в неприязненной усмешке: можно ли назвать это неприятностью?

— Да, в этом роде...

— Да что такое? Почему ты не скажешь?

Мария вдруг опустилась на стул, словно ей ноги подрезали. Детским, беспомощным голосом она сказала:

— Гриша погиб...

Раиса вскрикнула, и из её глаз сразу полились быстрые, легкие слёзы. Она подбежала к подруге.

— Маша, Маша!

Мария отстранила её. Глаза её уставились на коричневый сучок в гладкой паркетине. Как роза. Как нераспустившийся розовый бутон.

— Гриша погиб,— сказала она ещё раз, вслушиваясь в звук собственного голоса.— Гриша погиб,— повторила она громче и ужаснулась тому, что говорит. Ведь это же неправда, это не может быть правдой. Вздор, нелепая ложь, какие-то ужасные слова, которых нельзя повторять.

Красный огонёк блеснул на доске нумератора. Раиса вскочила.

— Я пойду!

— Это из мсей палаты,—ответила Мария обычным голосом, торопливо обтирая лицо мокрым полотенцем.

В коридоре её встретила санитарка.

— Что там такое?

— Седьмой номер умирает. Очень мучится.

— Седьмой?— Ах, ведь это было уже известно.

Врач предупредил, думали, ещё днём умрёт.

Она тихо вошла в палату. Кто это умирает? Гриша? Какая бессмыслица! Гриша не мог умереть. Она подошла к раненому, от которого веяло жаром. Он дышал тяжело, и его пальцы торопливыми однообразными движениями царапали белое одеяло. Мария наклонилась над ним. Глаза были мутны, дыхание со свистом вырывалось через нос. Достаточно было взглянуть — этот человек уже причаливал к иным берегам. Он уже отходил. Впрочем, это предвидели с самого начала — тяжёлая рана в живот, заражение; он был обречён ещё прежде, чем его привезли сюда.

Раненый застонал. Она наклонилась ниже. Поняла, что он узнал её. Огромным усилием воли вызвала

на лицо улыбку, ту улыбку, за которую её любили раненые, которая давала им надежду, бодрость и спокойствие. Но здесь уже не было надежды, здесь не было бодрости, здесь нужно было дать только одно — покой.

Она поправила пузырь со льдом на голове. Мокрые волосы прилипли ко лбу. Она осторожно отвела их, положила руку на вздрагивающие, царапающие одеяло пальцы.

— Оооох...

— Тихо тихо, не надо...

Она взглянула на листок над койкой и приготовила лекарство. Осторожно влила его ложечкой в пересохший рот. Раненый успокоился и с минуту лежал тихо. Затем губы его зашевелились. Он что-то гсворил. Глаза чего-то требовали. Сперва она не могла понять. Раненый повторял одно слово, непрерывно, хрипло, монотонно. В нетерпении он пытался говорить громче.

Наконец в его упорном шопоте она различила отдельные звуки и поняла. Раненый неустанно повторял одно слово:

— Сводка... Сводка... Сводка...

— Вы хотите узнать, какая сегодня сводка?

Веки на мгновение опустились. Напряжённое выражение сошло с лица. Она отгадала. Склонившись к нему, она медленно, явственно сказала:

— Наше наступление продолжается. Сегодня мы снова продвинулись на двадцать километров. Занято больше ста населённых пунктов.

Лицо раненого прояснилось. Затуманенные жаром глаза взглянули сознательнее. Этого он и хотел. Именно это его и мучило. Но через минуту пальцы снова стали царапать одеяло, глаза помутнели. Он отходил. Погружался в бездну лихорадочного бреда, в тёмную, зияющую жаром пустыню. Губы снова зашевелились, но она не могла уловить ни одного

звука. Он что-то говорил себе или видениям, являвшимся ему на бездорожьи лихорадки. Губы шевелились быстро-быстро.

И вдруг Мария осознала, что её губы тоже шевелятся, что она, словно в лихорадке, тоже шепчет одно слово: Гриша.

Она овладела собой. Впрочем, ведь то была галлюцинация, наваждение, чудовищный сон, ошибка.

В кармане больничного халата зашелестела бумага. Бумага — вещь реальная, но и она ничего не значила.

Раненый застонал. Она очнулась. Слова поправила лёд на голове и сползающее одеяло. Шепот усилился. Обожжённые губы всё громче шептали неизвестные слова, путанные фразы, выкрикивали что-то непонятное. Вдруг он рванулся, приподнялся на локте и хриплым, пронзительным голосом закричал на всю комнату:

— Вперёд! За родину, за Сталина!

Он рванулся, пытаясь встать на ноги. Мария с трудом удержала его на кровати. Он отталкивал её, вслепую колотя руками. Она отворачивалась, стараясь избежать ударов по лицу, и, обхватив его руками, непрерывно повторяла:

— Ну, тише, тише, спокойно, нужно лежать спокойно, ну, тихо, тихо...

Раненый, наконец, ослабел и, тяжело дыша, упал на подушки. Он лежал неподвижно. Его лицо ещё более пожелтело, нос заострился. С мину у дыхание его было так слабо, что Марии показалось — он уже умер. Но тотчас же грудь снова начала стремительно подниматься и опускаться, а тяжёлое, свистящее дыхание с трудом вырывалось из лёгких.

— Кто это? — спросил он вдруг в полном сознании.

— Никого здесь нет, это я, сестра Мария, Мария Павловна.

Но тут же она поняла, что он не слышит и не видит её. Он задал вопрос не ей, он не к ней обращался.

Она шаталась от усталости. Что это исчезло, сломилось, что же это перестало светить неугасимым светом? Ах да, нет Гриши. Нет его радостной улыбки, нет пожатия его сильной руки, нет его присутствия, того, которое она всегда чувствовала, которое поддерживало её в тяжкие часы ночных дежурств, в тяжкие часы работы в операционном зале.

Раненый снова зашептал. Однообразным, непрерывным, быстрым шелестом запёкшихся губ и замирающего голоса. Он что-то видел, кому-то отвечал, кого-то спрашивал. Но это не имело никакой связи с больничной койкой, никакой связи с его смертным часом.

Он был где-то далеко, на полях боёв, склонялся над картами, с глубочайшей тревогой сердца, с напряжённейшей любовью мерил родную землю, её пространства и просторы. Он тревожился и беспокоился о чём-то, чего-то добивался, непременно хотел что-то сделать, совершить. Он умирал за родину здесь, на больничной койке, но все его мысли, все его заботы и тревоги были там, где прохотали орудия и гудели машины, где сплочёнными рядами, стиснув зубы, с красными от бессонницы глазами, с возгласом на устах шли в атаку его товарищи. И ничто больше не существовало для этого человека в его последние минуты — только одно это, одно это. Мария пыталась уловить смысл лихорадочного шопота, ответить, помочь, но он уже не видел и не слышал её.

Когда же окончится эта призрачная ночь? Минуты текли медленно, тянулись в бесконечность, останавливались и не проходили. Всё перепуталось в сознании — Гриша, умирающий, Раиса, директор.

Когда это она была у директора? Вчера, позавчера, год назад? Да и была ли она у него?

Который час? Она взглянула на часы, но они стояли. Шопот раненого всё продолжался, пронизывающий, непрерывный. Губы шевелились всё быстрее и быстрее, руки царапали одеяло.

Ещё один листок со скорбным сообщением. Только в этом случае напишут: умер от ран. Кто получит роковой листок, кому он затемнит сияние солнца, кому перечеркнёт дни чёрной чертой, за которой уже нет ни счастья, ни радости?

Она подошла к окну и приподняла штору. Квадраты стёкол обозначились едва заметными помутневшими, серыми пятнами. Мария погасила лампу. Бледный зимний рассвет медленно просачивался в комнату. Из мрака выступил столик у койки, стакан, бутылочка с лекарством, голова раненого на подушке, жёлтое, восковое лицо, чёрные глазницы, потрескавшиеся губы, сплывшаяся прядка волос на лбу.

Он ещё шептал, всё тише и тише. И всё быстрее шевелились пальцы на одеяле.

Светало. И это наступающее утро словно поглощало последние силы умирающего, словно впитывало их в себя и за их счёт крепло, разрасталось, преодолевало тени, побеждало ночь.

Когда все предметы в комнате обозначились ясно и когда последние ключья мрака попрятались по углам, растаяли, Мария увидела, что пальцы перестали шевелиться. Губы застыли в неподвижности. Раненый умер совершенно тихо, широко открытые глаза были устремлены на белизну потолка. В них застыл беспокойный вопрос, на который уже никто не мог дать ответа.

Мария вздохнула и позвонила. Приплелась заspanная санитарка.

— Умер,— сказала она ей сухо.— Я ухожу.

Она сошла вниз, с трудом переставляя одеревя-

невисшие ноги. Никак не удавалось застегнуть воротник пальто. О ботиках она забыла.

Сзади крупными шагами спускался Воронцов. Его дежурство заканчивалось в это же время.

— Уходишь, Мария?— задал он ей бессмысленный вопрос. Ведь он же видел, что она уходит. Мария взглянула на него невидящими глазами.

— Ухожу...

Голос был глухой, изменившийся. Под глазами чёрные круги, щёки ввалились. Она не двигалась, словно ей трудно было нажать ручку входных дверей.

— Я провожу тебя домой.

Она запротестовала:

— Домой? Нет, нет, только не домой...

У подъезда стоял автомобиль. Она хотела обойти его, но Воронцов осторожно взял ее за локоть и подвёл к дверце. Она безвольно двигалась. И лишь очутившись внутри, удивилась:

— Машина?

В сущности, это её вовсе не интересовало. Она спросила, не думая, просто так. Впрочем, ей показалось совершенно естественным, что есть машина. Ведь иначе она не дошла бы до трамвая. С минуту она каждый день возвращалась домой, шла к трамваю, она каждый день возвращалась домой, шла к трамваю, а сегодня не может. «Что произошло, что случилось?»— пыталась она вспомнить.

— Это директорская. Поедем ко мне, тебе в самом деле нельзя сейчас возвращаться домой.

— Нельзя... Нельзя... Нельзя...— повторяла она. Что нельзя? Ну да, было что-то такое невозможное, что-то такое, чего нельзя преодолеть...

— Гриша погиб,— сказала она вдруг.

Воронцов взял её руку в свои.

— Я знаю, Мария.

Он вывел её из машины. На мгновение она уди-

вилась, куда это они идут. Ведь это же не та лестница. А его ответа она не слышала.

Заскрежетал ключ в замке. Прихожая, комната. Она остановилась на пороге, не зная, что ей надо делать.

— Приляг, Мария. Ты должна отдохнуть. Сейчас я приготовлю чай, ты позавтракаешь.

При мысли об еде она почувствовала внезапный приступ тошноты. И снова, как гвоздь, заколачиваемый в череп, назойливо застучало слово:

«Должна, должна, должна...»

Что такое она должна? Да, да, что-то нужно было выполнить, какой-то беспощадный долг, от которого нельзя уклониться.

Она села на тахту, бессмысленно глядя в окно. На ветру качались обнажённые ветви деревьев. Туда и сюда, туда и сюда...

— Почему ты не сняла пальто? Сними, тут тепло.

Она посмотрела на него непонимающими глазами. Он подошёл, снял с неё пальто, берет.

— У тебя совершенно мокрые ноги. Как можно в такую погоду без ботинок? Несколько шагов до машины и уже промочила.

Она продолжала, ничего не слыша, смотреть в окно. Он встал на колени и снял с неё туфли, стащил мокрые чулки. На секунду безудержным, внезапным движением прижался головой к её коленям. Она машинально положила руку на его голову. Стоя на коленях, он обнял её.

— Мария, Мария...

Но тут же он понял, что она его не видит и не слышит. Мария мёртвыми глазами смотрела в окно. Он прикусил губу и встал. Осторожно уложил её на тахту, прикрыл пледом. Она позволила укутать себя, неподвижная и безвольная, как большая кукла.

В электрическом чайнике закипела вода. Он заварил чай и со стаканом в руках сел возле неё.

— Пей, ты должна хоть немного выпить.

Он осторожно поил её с ложечки, как ребёнка. Тёплая струйка разливалась по внутренностям, согревала. Она жадно пила.

— Ты должна чего-нибудь поесть.

Она откинулась назад, почувствовав новый приступ тошноты.

— Нет, нет, нет!

— Нельзя так, Мария, ты должна поесть, уснуть, отдохнуть.

— Нет...

— Не упрямясь. Нужно жить... Что случилось, того не вернёшь... А жить нужно...

— Нужно?— сказала она не то вопросительно, не то удивлённо.

А затем, глядя в окно, деревянным голосом:

— Гриша погиб...

— Слушай, Мария, слушай: люди гибнут, это война, это ведь война... Ты сама знаешь, не одна ты... Оставляют жён, детей, возлюбленных... Война ведь... А мы... А те, что остаются, должны жить, работать за них и за себя.

— А Гриша погиб,—повторила она тем же тоном.

— Да, Мария, это и есть цена победы... Понимаешь, цена победы... И Гриша, и другие...

— А ты жив,—сказала она вдруг громко, отчётливо и злобно усмехнулась.

Красное пламя залило его узкое лицо.

— Мария, ты же знаешь!

Да, она отлично знала. Тяжёлый порок сердца.

Кроме того, он ведь врач, специалист, хирург и делает именно то, что лучше всего умеет, работает там, где больше всего нужен.

Неизвестно почему пламя, залившее лицо врача,

доставило ей удовольствие. И то, что у него стали дрожать руки. Вот этого ей и хотелось, задеть его чем-нибудь, больно, несправедливо, некрасиво, так, чтобы было как можно больнее.

Он сидел бледный и несчастный. Ей подумалось, что, собственно, надо бы его пожалеть, но ей доставляло удовольствие именно то, что он сидит такой несчастный, он, крупный специалист, доктор Виктор Николаевич, перед которым дрожат начинающие. Сидит, как мальчик, и его маленькие усики, словно приклеенные над верхней губой, смешно дрожат.

Вдруг её, как обухом, ударила мысль о том, что произошло. Никакого значения не имело то, что она уже несколько раз повторяла страшные слова. Она повторяла их губами, как непонятную, лишённую содержания формулу на незнакомом языке. Она села и начала дрожать всем телом. Глубокое отчаяние расширило её зрачки, глаза стали почти чёрными. Она ломала руки.

— Гриша погиб!

Воронцов бросился к ней. Она дрожала, тряслась, ловила губами воздух. Откуда-то из самой глубины её существа подступали рыдания и разрывали её тело, пока она, наконец, не разразилась ужасающим, громким, неудержимым плачем.

Он сидел рядом, осторожно обняв её. Мария положила ему голову на плечо, как ребёнок. Он держал её в объятиях, словно желая спасти, защитить, загородить от всего дурного, от всего мира, от беспощадной судьбы. В этот момент он не ощущал ничего, кроме безграничной нежности, безграничной жалости, братской любви к обиженной, покинутой, бездомной сестрёнке, у которой, кроме него, не осталось никого на свете. Он кутал, как мог, её дрожащее тело, неловко старался отереть непрерывно льющиеся слёзы.

Плач перешёл в рыдания, в детское всхлипывание. Он встал и подал ей порошок. Она отрицательно покачала головой, но выпила. Зубы застучали по краю стакана.

— Теперь ты будешь спать,— сказал он и, накрыв её ещё одним одеялом, подложил под голову подушку. Мокрые ресницы опустились на щёки. Он сел рядом и, держа её за руку, смотрел, как она спит, от времени до времени потрясаемая беспомощным всхлипыванием. Щёки были мокры от слёз, мокры от слёз были сияющие, светлые волосы на висках. Вдруг ему больше всего на свете захотелось коснуться губами этих волос, но он со вздохом отвернулся.

Воронцов встал и подошёл к окну. Шёл дождь, мелкий, пронизывающий. Во дворе сутились люди у грузовика. Высокий плечистый человек одним движением забросил себе за спину мешок, и Воронцов увидел, как широкая улыбка осветила его загорелое лицо. Ребёнок пытался перескочить через лужу и, не допрыгнув, поднял стоптанными башмаками целый фонтан воды. Человек с мешком за плечами рассмеялся, и Воронцов даже издали увидел ослепительную белизну его зубов.

Из книги выпал засушенный ландыш, пожелтевший, неживой цветок. Когда-то он цвёл на опушке, в тени низких кустов, пахнувших свежей зеленью. Выглядывал из полуразвёрнутых листьев чарующей белизной зубчатых колокольчиков. Стлал крепкий сладкий аромат по земле, ещё усеянной прошлогодними сухими листьями. Следуя за струёй аромата, они добрались до этого уголка, тенистого, влажного, полного росы и вздохов земли, пробуждающейся от долгого сна. Их пальцы встретились в ландышевой чаще в весенней красе, среди гладких, блестящих листьев, среди гибких стеблей. Их руки обнялись крепким, братским,

сердечным пожатием. Пальцы сорвали белый ландыш. Так он и остался, вложенный в книгу на память о том дне, который миновал и прошёл в ряду других дней, выделяясь из них белым ландышевым ароматом, блеском росы на шёлке листьев. Да, был такой ландышевый день. Её и Гришин день.

Теперь в её руке лежала тень тех часов — ненадёжная память, обманчивый символ. Белый атлас пожелтел, круглый колокольчик стал сухим и плоским, в нём больше не пульсировали живые соки. Улетучился чарующий аромат, молодая зелень листа покрылась паутиной жилок, стала серо-желтоватой, прозрачной, болезненной.

— Ландышевый день...

— Ты что-то сказала, Мария?

Она подняла на Ворошцова невидящие глаза. Она совсем забыла о его существовании. Забыла, что он сидит в её комнате. А он сидел, внимательный, сочувствующий, с этим вечным невыносимым напряжением во взгляде.

— Так, ничего...

Она держала в руке увядший, сухой цветок. Взвешивала его на ладони. Легче пёрышка. Возможно ли, чтобы он значил когда-то для неё так много? Что когда-то он был обаянием и ароматом, расцветом и красотой? Где же тот день, навсегда утерянный, безвозвратно ушедший день? И зачем было срывать цветок, вмешиваться в его удел, в его ландышевую судьбу, белую, хрупкую, ароматную?

Книга была сборником стихов. Здесь было и стихотворение о ландышах, о сухом ландышевом ложе в мокрой роще. Когда-то они вместе читали стихи, и слова звучали мелодией и были таинственны и радостны, как запах цветов. Но теперь время ландышей миновало, и вместе с ними миновало время стихов. Что знали они, лёгкие и полные гармонии, о человеческом несчастье, о человеческом отчаянии,

о чёрной судьбе? Эти стихи о цветах и о любви писались для счастливых людей. Отцветали цветы, истекала кровью любовь, любовь гнила в далёких полях под землёй, уходила навеки в стоне боли, в бессильном взгляде угасающих глаз. Нет, теперь была не пора стихов — стихи обманывали покоем и гармонией, покой и гармония не существовали. Внезапно обрушивался гром и разбивал всё, и всё разрывал в клочья и разносил на все четыре стороны, по всем закоулкам мира.

Конечно, если всё это правда. А может, и неправда. Разве не случилось? Кто-нибудь привозил известие, рассказывал как очевидец, а потом оказывалось, что всё было не так...

Только здесь очевидцев не было. Здесь был официальный бланк, формальное извещение. Зачем ты надеешься, глупая, зачем обманываешь самое себя, когда отлично знаешь, что всё именно так, а не иначе?..

— Я хотел тебе сказать, Мария...

Она осторожно вложила сухой цветок обратно в книгу.

— Я хотел тебе сказать... Может быть, это не нужно, но... Я понимаю... Видишь ли, я хотел бы, чтобы ты никогда не забывала о том, что возле тебя есть человек, преданный тебе, который всегда, всегда сделает всё, чтобы помочь... Чтобы...

Она улыбнулась как-то надменно и презрительно.

— Оставь, пожалуйста.

Чем тут можно было помочь, как можно было изменить то, что случилось? Нет, помощи и быть не могло. Она была одна, и так уж будет всегда. Что может понять доктор Воронцов, преданный друг, способный врач, милый, добрый человек? Ведь не он был молодой, влюблённой до безумия девушкой, а затем молодой, влюблённой до безумия женой. Ведь это не он строил совместную жизнь с любимым

человеком, с верой, что это навсегда, на веки вечные. Это не ему светили звёзды среди яблоневого ветвей, и не для него цвели ландыши в мокрой от росы чаще.

— И ты не имеешь права, Мария... Не ты одна, помни, не ты одна... Сколько женщин теперь...

Она покачала головой. Что мог знать Воронцов? Сколько раз они с Григорием говорили друг другу; сколько раз счастливыми губами повторяли, что именно они одни, одни! Нет, никогда не было, не могло быть где-нибудь, между парой других людей, то, что было между ними. Другие женщины, другие мужчины — ну да, столько было женщин и столько мужчин, но вот их любовь была единственная и неповторимая.

— Чего ты, собственно, хочешь от меня? Что я такое делаю? Что я, хуже работаю? Нет, работаю, как работала. Живу, как жила. Так в чём, собственно, дело?

— Не лги, Мария, ты съедаешь себя, губишь, я ведь не слепой. Ты себя мучаешь, терзаешь...

— Ну и что?

— Нужно взять себя в руки.

Она рассмеялась неприятным смехом.

— А разве я не взяла себя в руки? В чём ты можешь меня упрекнуть? Что я, с моста в реку бросаюсь или выхожу на площадь и вою, рву волосы, бью кулаками в стену? И зачем ты вмешиваешься в мою жизнь? Разреши мне жить, как я хочу, я, кажется, имею на это право? Почему тебя так интересует моя личность, мои дела?

Он опустил голову, переплетая и расплетая пальцы.

— Разве у тебя нет более интересного дела, чем высидеть здесь? Ведь я даже не занимаю, так ведь прино говорить, не занимаю тебя разговором. Зачем это всё?

— Есть одна причина, Мария, ты сама отлично знаешь, что причина есть,—сказал он глухо, не глядя на неё.

— Причина... Всё это не так, доктор... Всё это и ненужно, и неправдиво, и, наконец, наконец... скучно.

— Я надоедаю тебе? Я думал...

— Не знаю, что ты думал. А есть одно дело.

— Какое дело?

Она откинула голову на спинку кресла и прикрыла глаза.

— Так вот есть одно дело, в котором ты лично мог бы помочь. Так нет же, твердит всё одно: «видишь ли, Мария, знаешь ли, Мария...»

— Чего ты так раздражаешься? Какое дело? Ты никогда не говорила мне.

— Не говорила?—удивилась она.—Да, правда, не говорила. Я должна поехать в Берёзовку.

— В Берёзовку?

— Ну да, не в Нью-Йорк же и не в Шанхай! В Берёзовку.

— Как это поехать?

— Обыкновенно. Как вообще ездят. Сесть в поезд и поехать.

Он помолчал минуту.

— Надолго, Мария?

— Нет, зачем же надолго? Просто я хочу поехать, посмотреть. Один раз посмотреть. Понимаешь, один раз посмотреть!

— Ты думаешь, тебе это поможет?

— Ничего я не думаю. Ах, откуда ~~я могу~~ знать? Вот ты говорил: всегда, если понадобится... Так вот, не смог бы ты без лишних распргов как-нибудь устроить это? Мне пришлось бы говорить с директором... А я не могу... Так вот если бы ты...

Он минуту подумал.

— Это можно устроить. Мне нужно ~~идти~~ обследовать

довать госпиталь, в связи с этими сообщениями, помнишь, я говорил тебе. А это ведь следующая станция за Берёзовкой. Поедем...

— А это обязательно нужно — вместе с тобой? Я ведь хочу одна посмотреть. Совсем одна.

— Не волнуйся, Мария. Мы поедем вместе, ты выйдешь в Берёзовке, а на обратном пути я захвачу тебя. Мне достаточно одного дня, тебе, вероятно, тоже. Берёзовка, говорят, очень разрушена.

— Не знаю. Ничего не знаю. Я должна сама увидеть.

Она взглянула на часы.

— Ты собираешься ещё куда-нибудь, Мария?

— Нет... Но ты, вероятно, уже уходишь?

— Разумеется, уйду. Ты сегодня не особенно мила со мной.

— Я вообще не мила. И не намерена быть милой. Я не вижу причин быть милой.

— Со мной?

— Ни с тобой, ни с кем-нибудь ещё. И вообще...

— До свидания, Мария. Я думаю, что на будущей неделе удастся всё устроить, раз тебе уж так хочется.

— Хочется. Мне давно хочется. Кажется, тут нет ничего особенного, посмотреть на Берёзовку?

— Конечно, ничего особенного. Только... Нужно ли это?

— Ох...

— Ну, хорошо, прости меня, Мария, будь здорова.

Она проводила его до прихожей и торопливо вернулась в комнату. Ещё две-три минуты, и было бы поздно.

Теперь она включила радио. Сколько раз за время войны она включала радио и слушала, нет, жила тем, что говорил диктор!

— Наш войска, развивая наступление, заняли...

Название местностей. Она закрыла глаза и слушала. Ведь недавно ещё она воспринимала каждую сводку как привет от Гриши, как весточку от Гриши. В каждой из местностей, о которых говорилось, мог быть Гриша. Это он занимал деревню и врывался в город, он обходил с фланга, он шёл ускоренным маршем, он атаковал и истреблял врага, брал пленных и захватывал трофеи. Это Грише играли радостный марш. Грише слала свой привет столица Москва, в грохоте орудий, в сиянии цветных ракет, в упоении и восторге, в счастье победы...

Деревни, местечки, станции — ещё и ещё. Только теперь это уже не было приветом от Гриши, весточкой от него, его счастливым голосом, несущимся к ней сквозь неизмеримые просторы. Этого голоса уже не было, Гриша уже не шёл в атаку, не вступал в города, не освобождал деревень, не двигался вперёд в великом марше. Не он уничтожил неприятельские танки, о которых шла речь в сводке, не он взял в плен этих немцев, которых сейчас перечисляли, не он взял орудия, о которых сейчас сообщал голос по радио...

— Берёзовка...

Нет, это не та Берёзовка. Их Берёзовка, счастливое место, где они впервые встретились, где они на веки веков полюбили друг друга, освобождена уже давно, уже несколько месяцев тому назад. Было много Берёзовок — других, неведомых. Но существовала только одна, где раздавался радостный голос Григория, и звучали по дороге его быстрые шаги, и вечером в саду слышалась его любимая невеста: «Спят курганы тёмные»...

Она склонилась головой на сложенные руки и перестала слушать сводку. Там уже не говорилось о фронте. Где-то были фабрики, на которых работали, где-то были колхозы, в которых трудились, были люди, которым давали ордена, это далеко,

далеко. Но здесь, в комнате, где забыли включить свет, был только Гриша и его песня о парне, о молодом парне, вышедшем в донецкую степь. Песня неслась, звучала Гришиным голосом, мягким, весёлым голосом Григория, единственным в мире. Она ясно слышала не только слова, но каждое повышение и понижение тона, трепет мелодии. Голос явился из тьмы, вибрировал, наполнял собой мир. Как тогда, как раньше, когда она думала, что это песня как раз о Григории, о радостном молодом парне, который вышел в широкую донецкую степь на большие, важные дела, на счастливую кипучую работу. И шумный ветер обвеивает его виски, радуясь его силе, веселью, молодости. Это о себе пел Григорий, о нём были и слова и мотив.

Напев звучал, разливался, наполнял собой мир. Гришина песня, Гришина песня...

В соседней комнате зашлёпали туфли. Дверь скрипнула.

— Что это ты сидишь в потёмках? А тот уже ушёл?

Яркий свет залил комнату. Мария заморгала глазами, ослеплённая неожиданным светом. Гришина песня умолкла, грубо прерванная. Голос по радио перечислял цифры и данные, относящиеся к какой-то шахте.

— Я прозевала сводку, думала, что он всё ещё сидит тут. Что было в сводке?

Мария пыталась вспомнить, но напрасно. Татьяна Петровна пожала плечами.

Поезд остановился на маленькой станции. Мария вышла, забыв проститься с Воронцовым. Пока поезд не двинулся, он смотрел, как она бредёт по грязной дороге, мимо развалин разрушенной дотла станции. Она показалась ему маленькой, покинутой,

безнадёжно одинокой на подёрнутом сырым туманом пустыре. Он бросился к дверям, но вагоны уже закрипели, заскрежетали, и поезд двинулся.

Мария брела медленно, с трудом вытаскивая вязнувшие ноги из липкой грязи, в эту странную зиму без мороза. Ключья тумана стлались по обнажённым полям. С криком пролетела стая ворон и с криком опустила на землю за низким сосновым леском. Мария повела глазами вокруг. Серый, безнадёжно серый мир. Дождя не было, но в воздухе стояла сырость и холодной росой оседала на лице.

Показались высокие сосны. Дорога свернула в сторону.

Теперь Мария увидела первое строение, маленький заводик. Его шум и грохот когда-то были отчётливо слышны в посёлке. Пронзительный гудок будил население по утрам и оповещал об обрывном перерыве. Ей захотелось улыбнуться ему, как старому, хорошему знакомому.

Но заводика не было. Среди сосен виднелось что-то странное, напоминающее остов допотопного животного. Здание не рухнуло от снарядов: стальные прутья и железные крепления, — крепкий скелет, облечённый бетоном и цементом, — выдержали. Взрыв бомбы и удар воздушной волны сместили, исковеркали этажи и цеха, погнули крышу, измяли стены, словно заводское здание было дешёвой игрушкой из пластилина. Серый цвет стен ещё подчёркивал сходство — фантастический мамонт, таинственный зверь, огромный и бесформенный, прятался в сосновом лесу.

Мария почувствовала, как у неё сжалось сердце. Здесь, в этом здании, которое перестало быть зданием, начинал свою работу инженер Чернов. Здесь он бегал по этажам и бдительно следил за работой машин, за дыханием их мощных лёгких, за давлением

в котлах, за стремительным бегом колёс, за шелковистым шелестом приводных ремней.

Грязно-серые пласты снега лежали по обочинам дороги. Из них сочились струйки воды, подмывали их снизу, растопляли, разламывали на части. Капли воды дрожали на обнажённых кустах. Капли воды падали с сосновых ветвей в широко разлившиеся лужи, в отвратительную, раскисшую грязь.

Здесь когда-то было радостное лето и купались в золоте солнца сосновые ветви, и Гриша, идя ей навстречу, поднимал высокими сапогами пыль по ослепительно белой дороге.

Сосны редели. Они мельчали, переходили в низенький лесок, в отдельные косматые деревца, не заслоняющие горизонта.

Но на горизонте ничего не было видно. Серый, рваный туман, серое, мокрое небо и время от времени тяжело перелетающие стаи ворон.

Вот сейчас будет школа, высокий белый дом с колоннами.

Но школы не было. Лежала только груда развалин, отдельные кирпичи, чёрные пятна пепелища.

Странная мысль пришла Марии в голову — она заблудилась. Сошла не на той станции, пошла не той дорогой, в совершенно незнакомый посёлок, в котором никогда раньше не была и который уже перестал существовать.

Но это было не так. Правда, станция была сожжена дотла, но кто-то написал на доске знакомое название и прибил её на обгоревшем столбике. Фабрика и лес остались почти такими же, как прежде. Эта груда развалин была когда-то школой, большой белой школой с греческим фасадом, с рядом высоких колонн. Над этой школой с её греческими претензиями подшучивал Гриша, когда они проходили мимо, отправляясь на прогулку в лес.

Она уже открыла рот, чтобы сказать Грише,

что уже нет колонн и греческого портика, как вдруг её, как обухом, ударила мысль, что Гриши с ней нет. Он не идёт рядом, не видит того, что видит она. И что его уже вообще нет, он — «пал смертью храбрых».

А она вот бредёт по непролазной грязи, чтобы найти места своей прежней любви, ещё раз взглянуть, убедиться, что было всё это, было...

Здесь начинается улица. Но улицы нет. Небольшие груды пепла и углей. Торчит кирпичная труба, словно воздетая к небу окровавленная рука. От развалин тянет резким, тошнотворным запахом гари. По разбитым кирпичам течёт вода.

По обе стороны грязной дороги такие же жалкие развалины. Ни одной стены, ни одного окна, — трудно поверить, что когда-то здесь были дома. Скелеты железных заржавевших кроватей — вот единственный признак, что здесь когда-то жили люди.

Она шла, как во сне, силясь узнать знакомые, такие знакомые места, но всё стёрлось, распалось, превратилось в кладбище разбросанных кирпичей, в бесформенные пятна чёрных пепелищ. Безошибочная примета — верба на повороте, липа перед домиком железнодорожника, фруктовый сад возле клуба — всё исчезло. Деревьев не было, словно их скосила беспощадная рука, для которой мощный ствол и развесистая крона значили не больше хрупкого стебелька, травинки.

Мария беспомощно огляделась. Где, собственно, она находится? Да, мостик тут, мостик уцелел. Три тёмные мокрые доски, переброшенные через ров. Перила лежали на земле, из разбитой вдребезги балки торчали сотни заноз.

Она перешла через мостик и снова растерянно остановилась. Где-то здесь, рядом. За несколько десятков шагов вправо должен быть угольный домик знакомой многочисленной семьи, потом второй домик

двух одиноких стариков, у них в саду стояли ульи, потом...

Но ничего этого не было. Ни угольного домика, ни улицы. Далеко по равнине простирались ряды пепелищ, всё было плоское, ровное, словно здесь никогда ничего не росло.

Она стиснула руки и повернула назад. Ещё раз прошла от мостика по тому направлению, где должен быть дом, их дом. Липкая грязь приставала к ботинкам. Она еле тащила ноги, попадала в лужи, в ботниках хлюпала вода, чулки до колен промокли. Она вспотела, несмотря на холод и сырость. Волосы выбились из-под берета, неприятно липли ко лбу.

Теперь она побрела на ближайшее пепелище. Под ногами затрещали мокрые угли. Опять скелет железной кровати, опять дверца от печки, которая уже не существует. Как же здесь узнать, как найти?

Но должно же само сердце подать знак, почувствовать. И она плелась от пепелища к пепелищу. Она спотыкалась, дыхание со стоном вырывалось из лёгких. Ведь где-то здесь должен быть этот маленький домик. Здесь она познакомилась с Гришей. Он стоял за забором, высокий, светловолосый, и спрашивал дорогу. Глуховатая бабка, хозяйка, старалась понять, чего от неё хотят. Она безуспешно приставляла руку к уху, сдвинула с него грязный, бессменный платок. Гриша смеялся и весело кричал ей прямо в ухо.

Мария вышла по тропинке из чащи малинника, подошла к изгороди, объяснила ему дорогу. Она, как сейчас, помнит его большую загорелую руку на изгороди. С назойливой отчётливостью она видела теперь даже пальцы, — на среднем белый шрам, бросающийся в глаза. Ей захотелось тогда спросить — неизвестно почему её овладело глупое, детское любопытство, — откуда этот шрам. Она даже покраснела, подумав, как бы это получилось. Он смотрел на неё весёлыми глазами — да, у Гриши и улыбка, и

глаза, и походка, и голос, всё было весёлое. Первое, что бросалось в нём в глаза,— кипящее, щедро переливающееся через края веселье.

Так это и началось — «с первого взгляда», как писали раньше в глухих романах. Но, видно, и в жизни так бывает. Она сама тому пример. Гриша сразу же забыл про дорогу, о которой расспрашивал, не потрудился даже пройти несколько шагов до калитки — одним прыжком перескочил изгородь.

Неужели от этой изгороди не осталось ни следа? Мокрыми, озябшими пальцами она раскапывала развалины. Острые осколки кирпича больно ранили её руки. Не найдётся ли хоть дощечка, хоть щепка, по которой сердце безошибочно узнает её. Дерево сохранило прикосновение загоревшей сильной руки. Пальцы найдут его, рука ещё раз пожмёт руку Григория, ещё раз сольётся с ней в пожатии.

Угли, разбитые кирпичи, обгоревшие лоскутья неизвестно чего, обломки, среди которых ничего невозможно узнать. Немые и холодные.

Она ещё раз вскочила в отчаянии, в приступе внезапной энергии. Да, малинник мог сгореть дотла. Но где-то должен быть сад, большие, старые, развесистые яблони. Где-то ещё подымается над землёй ствол, который поддерживал великолепную когда-то крону. Ночью они смотрели вверх, в ветвях цвели звёзды, звёзды золотыми яблоками висели над головой.

Приходит счастье и смотрит серыми глазами изпод чёрных бровей, а над головой цветут звёзды, большие золотые звёзды в чёрной листве яблони, а где-то далеко поют песни, слов нельзя разобрать, потому что в этот момент всё кругом — песня и всё — Гриша.

Она застонала. Яблони не было. Не было и признака какого-нибудь ствола. Всё выкорчевала страшная рука войны.

Теперь Мария стояла над маленькой речушкой, лениво текущей между островками снега. Значит, уже конец. Речушка — это граница посёлка. За ней тянулись поля, перелески, пески. Она уже прошла всю улочку. Прошла ли? Неизвестно даже, была ли она на ней.

Мария опустилась на мокрые кирпичи. Она ещё раз до глубины, до дна души постигла, что Гриша погиб, что его уже нет. словно здесь, в сожжённом посёлке, где они познакомились и полюбили друг друга, он умер вторично. Бесповоротно. Бесследно. Где же его могила, как разыскать её на беспощадных путях войны, на беспредельных полях боёв, на страшных плацдармах битв, если она не могла найти даже следов улицы, дома, сада, где солнечным летом родилась их любовь?

— Марья Павловна?

Она вскрикнула от неожиданности. Перед ней внезапно выросла человеческая фигура, пожилая женщина в платке, опирающаяся на палку, серая, словно смятая, как всё, что оставалось здесь.

— Не узнаёте меня? Да я же Головкина, молоко ещё вам носила.

Было что-то знакомое в этом лице, в очертаниях губ.

— Головкина? — неуверенно спросила Мария, стараясь вызвать в памяти что-то неуловимое.

— Постарел человек, — сказала женщина и, сильнее опершись на палку, внимательно посмотрела на Марию. — Все мы постарели..

Теперь Мария узнала её. На одно мгновение исчезли седые волосы и морщины на лице, из-за них показались круглые румяные щёки, блестящие чёрные волосы и белые зубы, открытые улыбкой. Но припомнившийся образ исчез, как стёртая картинка, и осталась пожилая женщина с седыми волосами, выбивающимися из-под платка.

— Пришли посмотреть на старые места?

Мария бессознательным движением заломила руки.

— Я хотела... хотела увидеть...

— Вот так-то у нас! — Головкина развела руками, словно показывая своё царство. — Ничего не осталось, сожгли дотла. Так и живём.

Только теперь Мария заметила человеческое жилище неподалеку. Груда кирпичей, промазанных глиной, сверху набросаны ветки, куски фанеры, брезента. Это было похоже на неуклюжую берлогу, сооружённую животным. Но из заржавевшей погнутой железной трубы вился едва заметный дымок. В логове жили люди.

— Всё пожгли вокруг, до последнего. Бегали с бидонами и обливали бензином. Каждый дом, сарай, хлев. Мы как потом пришли, так я и не узнала, где раньше наш дом был. А Григорий Иванович где?

Мария собралась с силами. Вслушиваясь в собственный голос, как в чужой, незнакомый, она вымолвила эту истину, невероятную, невозможную и — всё же истину:

— Григорий... погиб...

И бессознательно пояснила не своими словами, а словами официального извещения, прозвучавшими в её собственных ушах искусственно и парадно:

— Пал смертью храбрых...

И сразу ей стало стыдно этих парадных слов, которые можно написать, которые можно прочесть, можно услышать от кого-нибудь чужого, но которыми не говорят о близком, о муже.

Головкина не удивилась ни форме, ни содержанию её ответа. Она приняла это, как самый естественный факт.

Правда, Григорий и не был для Головкиной счастьем, которое пришло в солнечный летний день.

Раньше он был для неё одним из работающих на фабрике инженеров и потребителем молока от пегой коровы. А теперь был одним из миллионов тех, что «пали смертью храбрых»...

Мария вдруг почувствовала себя невероятно одинокой и покинутой на развалинах посёлка. Она пожалела, что встретила знакомую. Ей захотелось, чтобы та уже ушла, уползла в свою берлогу, не смотрела равнодушными глазами.

— Моего тоже нет. Ушёл с нашими ещё тогда, осенью. Вот не видать его что-то. А сыновей немцы повесили. Там, на соснах, возле завода.

Она сказала это просто, деловито, как будто о совершенно естественной вещи. И Марии стало мучительно стыдно, словно она совершила какую-то подлость.

— Да, да...

Она проследила глазами за взглядом женщины. Головкина смотрела на мокрую серую равнину, на пропахший гарью пустырь, бесплодный пустырь, который был когда-то заводским посёлком.

— Здесь был бой?

— Никакого здесь боя не было. Наши обошли их кругом, так они сами отсюда бежали.

Мария ещё раз огляделась.

— Не было боя? Так зачем же?

— А кто их знает! Фрицы, фрицы и есть... Месяца два они тут квартировали во всех домах, народ повыгоняли, так что мы скитались и по лесу и где попало. А когда уходили — сожгли. Бегали с факелами и — чтоб уж всё аккуратно, по порядку... Не то что дома, забора даже ни одного не пропустили, ни одной дощечки.

— А деревья? — спросила Мария с внезапной странной надеждой. Вдруг окажется, что та яблоня уцелела, что она её не заметила. Головкина покажет рукой — и глаза вдруг увидят, что яблоня

стоит на пепелище, распростирает свои длинные, свисающие вниз ветви, отяжелевшие от любовного шопота и вздохов, ветви, на которых цвели звёзды.

— Деревья-то они ещё раньше вырубали. Печки топили... Яблоня так яблоня, груша так груша, им что... Да и так, просто со злости, видно... Кусты все вырубали, где только был какой. Помните, может, у нас сирень была, целый лесок? Так тоже вырубали до последней веточки, да так и бросили... Известно, фрицы...

Мария пошла обратно. Опять мостик — сколько раз они вместе проходили по этим трём шатким доскам! Она жадно глядела на покрытое слоем грязи дерево, словно на нём ещё можно было найти следы Гришиных ног.

Но ведь после Григория здесь прошли сотни тяжёлых немецких подкованных сапог и растоптали, стёрли, уничтожили навсегда следы Григория.

Она стала дрожать от холода. Зубы стучали. Только теперь она почувствовала, что ноги у неё мокрые, а лицо словно одеревянело. Медленно тащи́лась она по дороге к станции. «Как с похорон», — подумалось ей. Она не была на похоронах Григория, да и как она могла быть на его похоронах? Он пал смертью храбрых неизвестно где, и неизвестно где он лежит в земле. А может, его разорвало на клочки? Может, от него осталась только горсточка пепла, в которой тщетно доискиваться останков человека?

Да, она похоронила его сейчас здесь, на месте их молодой, радостной любви. Большая у Гриши могила, неизвестно, где опуститься на колени и прильнуть губами к мокрой земле.

Она шла, устремив вперёд невидящие глаза, вдоль грязной дороги. Здесь они ходили вместе, — она выбегала к нему навстречу, не в силах дождаться его.

Потом они шли к дому, который уже был их общим домом. Неопрятная бабка Авдотья заваривала малиновый чай. Григорий подозрительно осматривал посуду, пока Мария не успокаивала:

— Не разглядывай, не разглядывай, я сама вымыла.

— Правда, сама?

— Ну, конечно, правда.

Бабка Авдотья, к счастью, была глуховата и не подозревала о Гришиных сомнениях. Она стояла у печки, подперев ладонью щеку и с удовольствием наблюдала, как пьют её малиновый чай. Она любила угощать их подозрительным супом, сваренным в заржавленном чугушке, какими-то лепёшками, и им приходилось всячески защищаться от этих угощений. Она качала головой по поводу их «барских выдумок», когда они умывались утром и вечером, и, чтобы не дразнить дракона, как говорил Григорий, он сам носил воду из ближайшего колодца. И всё же бабка Авдотья любила их обоих, а к Григорию питала нечто вроде обожания.

— Григорий,— сказала громко Мария и остановилась, взглянув на серое, низко нависшее, безнадежное небо. То самое небо — лазурное, золотое, сияющее небо их любви. Неужели тогда в самом деле не было дождей? Она пыталась вспомнить и не могла. И вдруг в памяти всплыли кусты малины, отяжелевшие и блестящие от дождевых капель, зашелестел быстрый дождик в ветвях яблони. Да, и тогда были дождливые дни, и всё же всё помнится в золоте и лазури, в обильном цветении, в ласковом тепле, в безмерно щедром солнце, любовном, сияющем, одаряющем...

Хлюпала грязь под ногами. Вороны снова поднялись тяжёлой стаей, как рваные лоскутья, несомые ветром, промелькнули в воздухе и опустились на землю.

И вдруг, среди этой утомительной серости, среди сонных, надоедливых, удручающих, выцветших красок, там, где небо походило на грязную дорогу, а дорога подымалась серым мокрым небом, в глаза бросилось красноватое зарево, словно луч солнца упал на низкие заросли.

Мария остановилась, а затем, не переводя дыхания, пошла в сторону от дороги, провалилась в канаву, скользя и падая в грязь. Она схватилась руками за увядшую, мёртвую траву, пока не выбралась на другой край, где узкой полоской росли кусты красной вербы, гибкие, стройные прутья, нежные веточки, как туман, освещённый вечерней зарей. Радостной Гришиной улыбкой, весёлым Гришиным взглядом расцветали красные веточки, струя вербы среди редкого сосняка. Мария вошла в мокрую чащу, она шла с распростёртыми руками. Устремлённые вверх побеги скользили под её руками, ласкали их своим прикосновением. Небольшие выпуклости на ветвях — зародыши будущих почек — задерживали капли сырости и стояли словно в утренней росе. Здесь, в зелёной вербной роще, среди шелеста узких листочков, в волнуемом море светлой, юной зелени, они впервые поцеловались. Она шла вперёд, мокрые ветки били её по лицу, она шла, как безумная, вдруг почувствовав, что нашла Григория. Она прижимала к себе гибкие побеги, шептала прерывистые слова, захлёбывалась стонами, пока не упала на мокрую, раскисшую землю в страшном, сотрясающем всё тело рыдании, в безнадежных слезах, в безграничной своей скорби, в несчастье, валящемся на плечи, словно гора. Показалось, что стоит только крепко захотеть — и она умрёт здесь, в чаще красной вербы, которая когда-то покровительственно скрывала от прохожих чистый поцелуй, словно данный не губами, а самим сердцем в счастливый день любви, безвозвратно утерянный, разметённый военным вихрем, втоптаный в землю немецкими сапогами, разо-

рваный в ключья немецким снарядом, пробитый насквозь немецкими пулями.

Она очнулась с ощущением грязи во рту. Смеркалось. Красные веточки погасли, их окутал сырой, туманный сумрак. Ещё раз умирал Григорий, бесповоротно, навсегда, навек. Мария поднялась, с трудом переставляя застывшие ноги. Машинально она стала отчищать от грязи пальто, но глина пристала рыжими полосами к ворсистому материалу, руки были в грязи. Она поплелась к станции. Ей показалось, что канава превратилась в глубокий, непроходимый овраг. Она снова поскользнулась и упала. Ей пришлось пролежать несколько минут, чтобы собраться с силами и встать, хотя, в сущности, сама не знала, зачем она это делает и зачем снова идёт той же дорогой. Мрак притаился под соснами, мрак окутывал обезображенный скелет завода, который в сгущающихся сумерках ещё сильнее походил на допотопное животное.

Она шла с трудом, не глядя под ноги. Начал моросить пронизывающий дождь. Она ловила губами бьющие по лицу капли дождя и удивлялась их солоноватому вкусу. Из потрескавшихся губ сочилась кровь. Она взглянула на руки и увидела кровь на пораненных острыми осколками кирпича пальцах. Чья это кровь? Григория? Нет, не его, ведь не она перевязывала Гришу. И не только не она — никто не помогал ему, никто не спасал его, потому что спасения уже не было. Он умер не от ран, он «пал смертью храбрых»; да, так было написано. Он погиб сразу, на поле славы, за родину, за Сталина... е

Но почему, когда об этом думаешь, в голову приходят знакомые слова, готовые формулы, сто раз читанные в газете? Видно, так оно и было, видно, в этих словах билось сердце, пульсировала живая кровь, а жизнь и силу этим словам давали все те, кто пал на поле славы за родину, за Сталина. Других слов не могло быть...

Она вдруг удивилась — о чём она думает, идя с похорон Гриши. Нет, это не она думала, это само думалось, будто помимо её участия.

На станции к ней присматривались с удивлением. Поезд должен был притти через час. Она уселась на единственной, расшатанной скамейке и терпеливо ждала, глядя в одну точку на полу. Воронцов выскочил из поезда, она сразу его заметила, больше никто не слез. Она позволила ввести себя в вагон, не заметив его, полного ужаса, взгляда.

— Мария, ты же совершенно мокрая, у тебя руки в крови...

Она взглянула на свои руки. Потом на него. Оглянулась, не прислушивается ли кто-нибудь, но в вагоне был полумрак и все дремали. Она наклонилась к нему и, словно доверяя тайну, прошептала на ухо:

— Знаешь, Григорий на самом деле погиб...

Он взял её ледяную руку и, крепко сжав её, держал в своей.

— Мария, Мария, неужели ты до сих пор...

Он не кончил. В его близоруких глазах она увидела испуг.

Она покачала головой. Она не сошла с ума. Только до сегодняшнего дня она всё ещё не знала, как обстоит дело. Не то чтобы она не верила. Но смысл извещения не дошёл до неё. И только теперь, в этом посёлке, который уже не существовал, среди этих уцелевших верб она похоронила Григория, поняла, что означают слова, которые она раньше сто раз читала невидящими глазами: «пал смертью храбрых».

Она неуверенно улыбалась, глядя в мрак за окном. Вагон грохотал и покачивался.

— Тебе телеграмма, — сказала Татьяна Петровна.

— Телеграмма? От кого?

— Я и не посмотрела. Она лежит у тебя на столе.

Мария неторопливо снимала перчатки, пальто. Непременно запрос о здоровья кого-нибудь из пациентов и, верно, как назло, о ком-нибудь, кому очень плохо. Быть может, они — матери, жёны, сёстры — чувствуют на расстоянии сотен и тысяч километров, быть может, до них неизвестным путём доходит тревожный сигнал, весть о том, что тот, кого они любят, уходит, что в борьбе со смертью он побеждён.

Вот сама она ничего не чувствовала, не знала, пока не пришло извещение. Как же тут верить в предчувствия? Гриша был с нею, был постоянно, не покидал её ни на миг, она чувствовала его присутствие, слышала голос, видела улыбку. А между тем всё это оказалось неправдой — его уже не было в живых в то время, когда она была совершенно уверена...

Она развернула телеграмму, пробежала глазами два ряда букв, — узкие неровно наклеенные полоски, — и не поняла. Прочла ещё раз. По телу пробежал озноб, неудержимая дрожь.

— Хочешь чаю? — спросила мать из другой комнаты. Она не ответила. Она держала в руках телеграмму, невероятные слова, которые невозможно понять.

Стопанные туфли Татьяны Петровны зашлёпали по комнате.

— Чего ты такая? Что эта за телеграмма?

Она взглянула на мать непонимающими глазами.

От кого это опять? — ворчливо спросила старушка. Она не выносила всего, что могло играть какую-нибудь роль в жизни дочери и не относилось к Григорию. Она не терпела Воронцова, ворчала при каждом звонке, подозрительно поглядывала на каждое письмо.

— Телеграмма... Телеграмма...

Она ещё раз расправила смятую бумагу. И, заикаясь, ошибаясь, с паузами, прочла:

«Григорий Иванович раненый в нашем госпитале Соня».

Старушка вырвала у неё из рук телеграмму. Ещё раз шопотом прочла её и залилась слезами.

— Жив, жив, жив...

Она торопливо побежала в другую комнату, не обращая внимания на дочь. Для неё воскресал Григорий, для неё он возвращался к жизни, сейчас это было её и только её дело. Было слышно, как она громко шептала молитву. Ну, конечно, первое, что она сочла нужным, это упасть на колени перед иконой и молиться.

Мария ещё раз прочла телеграмму. Соня с самого начала войны работала в далёком тыловом госпитале. Откуда же мог там взяться Гриша, ведь известие пришло с фронта? Кроме подписи приятельницы, тут ничего невозможно было понять.

Она вынула из ящика известие о смерти мужа и внимательно разглядела. Это вне всякого сомнения известие о смерти. Не из какого-нибудь госпиталя, а из части, где служил Гриша. Как же так? Там-то ведь лучше знают, чем Соня... При чём же тут Соня?

Она сжала руками виски, смертельно боясь повторить, даже подумать слово, которое сказала мать: «жив». Потом окажется, обязательно должно оказаться, что это ошибка, какое-то нелепое недоразумение.

Татьяна Петровна вернулась в комнату. Лицо её сияло. Она изумлённо взглянула на дочь.

— Чего это ты? Стоит столбом и хоть бы что. Ведь Гриша-то жив!

— Не знаю,— с трудом прошептала Мария. Ничего я не знаю...

— А телеграмма, телеграмма-то!

На столе лежали рядом два клочка бумаги, две помятые бумажки. Извещение о смерти и извещение о жизни. Которой следовало верить? Которой можно было верить?

— Ничего я не понимаю,— сказала она глухо. Где-то в глубине сердца загоралась радость, внезапная искорка, готовая вспыхнуть ярким пламенем. Мария душила эту слабую искорку, не давала ей разгореться. Уж это было бы слишком жестоко, слишком ужасно — два раза потерять Григория. Сердце болело, как рана, и боялось уже всего — и боли, и радости, потому что радость могла оказаться ещё более мучительным страданием.

— Чего же тут понимать? Лежит в госпитале, ведь Соня...

— Да, да... Откуда же Соня могла узнать про Григория?— Вдруг в её голове мелькнула какая-то мысль. Она проверила адрес. Нет, телеграмма адресована ей.

Она засуетилась по комнате, схватила перчатки.

— Куда ты собралась?

— Нужно, нужно... Посоветоваться, спросить...

— Опять Воронцова?

— Да, да, Воронцова...

Разумеется, с кем же ещё посоветоваться? Должен же прочесть, сказать своё мнение, объяснить всё это кто-нибудь нормальный... И как можно скорее, а то она сойдёт с ума...

— И никуда ты не пойдёшь. Вот сумасшедшая! Только что пришла с работы, с лица — краше в гроб кладут, и опять бежать! Пойду попрошу дворника, мальчснпка сбегает, приведёт тебе твоего Воронцова, раз уж ты без него жить не можешь! А ты садись!

Неожиданно для самой себя Мария послушалась. Может быть, потому, что силы отказались слушать. Ноги вдруг стали слабыми, беспомощными,

словно из них вынули все кости. Она опустилась на стул. Комната качалась, кружилась вокруг неё.

Она послушно пила чай, не чувствуя, что обжигает губы. На столе лежали две бумажки, и глаза не могли оторваться от них. В которой из них правда, которая из них решает судьбу?

Дата! Эта мысль внезапно ослепила её. Дата извещения была известна. Она повторяла её тысячи раз. Глубоким рвом, бездонной пропастью легла эта дата между прежней и теперешней её жизнью, вздымалась высокой, до неба, стеной между прежними днями и теперешней жизнью. Но телеграмма?

Цифры, цифры, цифры. Целая строчка. Что они означают, как расшифровать их, как понять их смысл? Которое сегодня? Она пыталась вспомнить, но мысли мелькали, непослушные, разорванные, как гонимый ветром туман. Какой это день? И какой месяц? Какой год наконец? Она с трудом вспомнила год. Ну да, конечно...

— Опять что-то там ещё стараешься вычитать?

— Дату... Не могу найти.

— Покажи.

Татьяна Петровна нацепила на нос очки в железной оправе. Да, оправу так и не починили, дужка связана белой ниткой. Как это она всегда забывает!.. Дорогой в госпиталь вечно повторяет себе: очки, очки... А потом, когда начинаются все госпитальные заботы, это выпадает из памяти...

«О чём я думаю? — испугалась Мария.— Ведь Гриша...»

— Погоди, здесь что-то есть... Ага... Нет... не знаю... Понаставили цифр, вот и ломай себе голову... Да зачем тебе это? Телеграмма — и всё, пусть даже запоздала. Случается, письмо и то раньше дойдёт. Послала бы письмо, мы бы больше узнали. А так только и известно, что жив.

Резко прозвучал звонок. Татьяна Петровна заторопилась открывать.

— Что случилось, Мария?

Воронцов запыхался, видимо, он бежал бегом всю дорогу и теперь отирал платком пот со лба.

— Пришла телеграмма! Григорий жив! Ранен, в госпитале! — торопливо сообщила ему Татьяна Петровна, забывая в этот момент всю свою нелюбовь к молодому врачу.

— Григорий?.. Жив?

— Иди, иди скорее сюда... Телеграмма...

Не здороваясь, Мария протянула ему бумажку.

— Как же это, Мария?

Она ошиблась. Воронцов держал в руках извещение о смерти.

— Нет, не думай, что я сошла с ума. Это не то! Вот, вот...

Он внимательно читал телеграмму.

— Посмотри, посмотри, какая дата... Я ничего не понимаю...

Руки его слегка дрожали. Он несколько раз пробежал глазами текст.

— Мария, я хотел бы, чтобы ты поверила... Я счастлив, я так счастлив...

О чём он говорит? Какое ей дело до его чувств? Ей же нужно только одно.

— Дата, посмотри, какая дата! Я не могла разобратъ.

— Успокойся, Мария. Мы всё это выясним. Видишь ли, дата...

— Что? — прервала она его с колотящимся от страшного волнения сердцем.

— Дата... более ранняя...

Мария окаменела. Голос Воронцова доносился до неё откуда-то издалека. Значит... всё-таки.

— Но это ничего не значит... Ведь то извещение... А тут госпиталь... Видимо, произошла ошибка, дата

тут не имеет значения, может быть, она совершенно не имеет значения...

— Я ей толкую, толкую, а она сидит, как помешанная. Конечно, где уж там старухе-матери знать...— раздражённо вмешалась Татьяна Петровна.

— Виктор... Я должна знать наверняка... Поймите же вы, что я должна знать...

— Да что тут такого? Садись и поезжай— только и всего. Ведь он же лежит раненый!— возмутилась мать.

— Нет, так сразу ехать нельзя,— возразил Воронцов.— Мы дадим телеграмму главному врачу. Узнаем, что и как.

— Да, да, чтобы уж наверняка...

Она стала нервно суетиться.

— Да где же мой чемодан...

— Зачем тебе чемодан, ты же пока не едешь... Господи, какой народ пошёл, всё не так, всё шиворот-навыворот — ни тебе горевать как следует, ни тебе радоваться не умеют.

Она пожала плечами и тяжело двинулась в кухню. Слышно было, как она сердито переставляет кастрюли, что-то ворча про себя.

— Не знаю... Ничего я не знаю... Если бы я хоть могла поверить...

— Успокойся, Мария. Мы телеграфируем, через два-три дня будет ответ. Я дам телеграмму главному врачу. Это мой знакомый.

— А если...

— Не думай теперь об этом. Не мучай себя, сейчас ещё ничего нельзя сказать... Хотя мне думается, что Козлова не ошиблась. Видимо, его нашли санитары другой части и перевезли в госпиталь... Это случается.

— Виктор, а если за это время...

Он не понял.

— Что?

— Нет, ничего, ничего...

Этого не следовало, нельзя было произносить. Но эта мысль всё время навязчиво лезла в голову: Соня не ошиблась, Гриша действительно был в госпитале, не погиб, но теперь он умер, умер раньше, чем была получена эта телеграмма, путешествовавшая бог знает какими путями. Умер не в день, упомянутый в извещении, а вчера, сегодня, лежит теперь мёртвый в госпитале, умрёт завтра, и всё сразу опять окажется чёрной дырой, пропастью, беспредельной и безграничной пустыней, по которой приходится идти, идти, без смысла и цели...

— Два-три дня терпения, и мы будем всё знать,— говорил Воронцов, и Мария успокоилась. Она почувствовала вдруг доверие к его спокойным словам. В них звучала такая убеждённость.

— А потом ты поедешь к нему или его привезут сюда. Увидим, как это лучше устроить. Независимо от телеграммы я постараюсь ещё позвонить в госпиталь. Это будет лучше всего. Я позвоню туда.

— Ох...

Она молитвенно сложила руки. Как это ей самой не пришло в голову? Телефон! Сообщение прилетит быстро, и всё сразу выяснится! А вдруг... вдруг сам Григорий... Услышать его голос из далёкого города... Гришин голос...

Воронцов ушёл. Мария сидела, опершись подбородком на руки, не имея сил отвести глаза от бумажек, одна из которых возвещала смерть, а другая —

Мир был красным туманом. Капитан Чернов блуждал в этом кровавом тумане, не сознавая, что происходит! Одно он знал твёрдо: надо затеряться. Надо затеряться в огромных просторах родины, вмешаться

и толпу миллионов людей, раз навсегда перестать быть Григорием Черновым.

Колёса санитарного поезда однообразным, протяжным стуком говорили: «да, да, да». Они подтверждали, поддакивали. Хорошо ещё, что документы потерялись, видимо, они остались там, на равнине возле оврага, где ему пришлось провести сутки среди убитых, до того как заботливые руки вытащили его из трупного смрада и положили в сани. Хорошо, что тогда, когда он не мог говорить сам, за него ничего не сказали документы.

Запах больничной палаты и сладковатый тошнотворный запах хлороформа и острый блеск очков хирурга в момент, когда он падал в бездну забытья.

И снова гудение колёс, и колёса говорили ему тогда что-то непонятное, словно это было неоформленное предчувствие того, что должно притти, а мир расплывался в его глазах. Но, наконец, всё стало на своё место. Палата в госпитале, и больничная койка, и незнакомые, покрытые снегом горы за окном. Теперь капитан Чернов должен был сказать себе: «На фронт я уже никогда не вернусь. У меня нет руки, раздроблена нога, и что-то странное происходит с моим лицом».

— Что это такое у меня с лицом? — сурово спрашивал он молоденькую сестру, подававшую ему лекарство.

— Рана и ожог, скоро всё заживёт, — сказала она беззаботно. Но он не мог успокоиться. Ему мешали бинты, из-под них он внимательно следил за выражением её лица.

— Обыкновенная рана. Лежите спокойно, тогда скорей заживёт.

Он чувствовал пронизывающую боль в правой половине лица. Но ведь такую же пронизывающую боль он чувствовал и в руке, которой не было. Он смотрел на белос, плоско лежащее одеяло. Там,

где должна бы быть его рука, оно западает — там ничего нет. И всё же больно. Руку мучительно дёргало, она не давала уснуть ночью. Что же могла сказать сестра, как можно было верить сестре, если легло собственное тело, если болела рука, которой не было?

Он ни о чём больше не расспрашивал ни сестру, ни врача, ждал случая.

Вот сестра, подойдя к дверям, украдкой посмотрела в зеркальце. Все раненные знали, что сестра влюблена в доктора, а доктор сейчас должен притти. Но не в этом дело. Важно то, что зеркальце исчезло в кармане белого халата.

— Сестра, пить хочется, дайте, пожалуйста, напиток. Нет, с той стороны, пожалуйста!

Заметит, непременно заметит. Попросить? Нет, не даст, догадается, в чём дело.

— перевязка, перевязка, вот здесь, сбоку...

Сестра наклонилась над койкой. Его пальцы быстро, осторожно скользнули в карман. Есть. Маленькое круглое зеркальце, гладкое и прохладное. Оно не солжёт, не обманет.

— Перевязка вовсе не сдвинулась...

— Нет? А мне показалось...

Сестра ушла.

Теперь нужно только выбрать момент. И в тот же день случай представился. Ни сестры, ни врача. Сосед спал — он постоянно спал, просыпаясь только для еды и перевязок.

Маленькое круглое зеркальце было ужасающе открыто. Капитан Чернов смотрел серьёзно, испуганно. Рана заживёт, видимо, раздроблена скула. Останутся швы и шрамы. Но, никто уже не сможет изменить того, что он видел в круглом зеркальце: отталкивающий, изувеченный глаз, оказавшийся словно не на своём месте. Этот глаз смотрел страшно, с каким-то свирепым, чужим выражением.

Григорий осторожно надвинул бинты на прежнее место. То, что до сих пор было туманно и неуловимо, стало ясным и отчётливым. Колёса поездов говорили правду, подтверждая неясное ещё тогда решение. Так и должно быть. Так, а не иначе.

Потянулись длинные, бесконечные дни лечения. Капитан Чернов лежал терпеливо. Один глаз был цел. И отчётливо видел больничную палату, и врача, и нянь, и портреты на стенах.

Особенно один портрет. Капитан Чернов смотрел на этот портрет. Долго, долго. Он имел право смотреть на этот портрет, ведь он с первого дня войны на фронте. И когда невозможно было уснуть, когда слишком мучила несуществующая рука, когда на ней назревал нарыв, капитан в глубочайшем молчании разговаривал с человеком на портрете. Он же был одним из миллионов его солдат. Он, капитан Чернов, чувствовал в себе спокойную, твёрдую верность, глубокую близость, прочную и вечную связь. Хорошо было смотреть в это лицо и без слов рапортовать ему.

Капитану казалось, что он уходит далеко от всего, что до сих пор пережил. Незначительными становились обычные дни и даже фронтовые дни. Он стоял где-то высоко-высоко, лицом к лицу с портретом. И молчанием души рапортовал о своей несокрушимой верности.

Он мог смотреть так часами. Текла жизнь, где-то рядом стучали шаги по коридору, храпел сосед, кто-то тихо стонал в углу палаты, кто-то смеялся, издали доносился грохот сворачивающего за угол трамвая, — всё это было несущественно, нереально. Реальной была необъятная даль, безграничная высота, полная тишина и этот разговор, о котором никто не знал. Нет, даже не разговор — говорил ведь только один капитан. И не словами. Это было что-то большее, чем слова, и не похожее на них.

И вот оттуда, из молчаливой, говорящей без слов тишины, его упорно и неотступно стаскивали вниз. Смена перевязок, лекарства, измерение температуры — всё это напоминало о действительности, явно говорило о том, что есть на самом деле. «Инвалид», — стучали шаги в коридоре. «Инвалид», — храпел сосед. «Инвалид», — скрежетал по рельсам трамвай.

И капитан Чернов видел себя словно извне. С ужасающей ясностью видел он культяпку ампутированной руки, неуклюжую колоду толсто забинтованной ноги. И прежде всего страшную маску изуродованного лица.

До сих пор всё шло удачно. Капитана Чернова не было — он остался далеко на туманной равнине возле оврага. Теперь он уже лежит где-нибудь в братской могиле, засыпанной мокрой, сбившейся в комья землёй. След уже сто раз успел затеряться — больницы, пезда — он уже далеко ушёл по пути, на котором следовало затеряться раз навсегда.

— Где ваша семья? — спросила раз любопытная сестра. И капитан Чернов ясно и отчётливо ответил: — У меня нет семьи.

Но исподтишка, предательски подкрадывалась тоска. По единственной на земле солнечной улыбке. По светлым, как лён, волосам, по ей одной свойственному наклону головы. Ах, пришла бы, склонилась над койкой, глянуть бы вблизи в её не знающие измены глаза. Что-то тихо зашептали бы губы, которые он столько раз целовал. Его лба коснулись бы мягкие, заботливые руки.

«Не поддамся», — говорил он тоске. Она лёгкими, ~~жесткими~~ быстрыми шагами ходила вокруг больничной койки, и это были шаги Марии. Она шептала кроткие слова, и это был голос Марии. Всплывали воспоминания, в больничной палате воскресали все дни, начиная с того часа, когда он увидел её в маленьком городишке, за забором, в чаще малинника, в голубом платочке

на голове. Воспоминания разрастались буйной порослью, расцветали высокими цветами, неслись в песнях вольного ветра. Капитан Чернов боролся с собой, собирался с силами.

Счастливо, доверчиво когда-то начиналась молодая жизнь, можно было в той жизни принести в дар любимой радостную силу, необузданное веселье, поднимающееся ввысь будущее. Теперь нет уже инженера Чернова, теперь инвалид на госпитальной койке.

Что может он теперь принести ей в дар? Связать её навсегда со своей увечной жизнью? Навсегда омрачить её прозрачные глаза, потушить улыбку, заглушить песенку, которую напевали доверчивые уста? Нет, пусть лучше будет так — он не вернётся, и ей останется светлое и чистое воспоминание о том, кто любил и кто отдал жизнь за родину.

Тогда она сможет начать новую жизнь. Но как болело сердце при мысли, что розовые губы улыбнутся другому, что в другие глаза взглянут её глаза, не знающие измены. Но так должно быть, да, так должно быть.

«Я не обману тебя, милая, не отравлю твоей молодости, светлая моя, не свяжу твоей жизни, не прикую тебя навеки к калеке», — говорил капитан Чернов запёкшимися от жара устами.

Этот жар был главным врагом. В его огне таяла воля, в его пламени ослабевало сердце. Перед глазами возникали манящие картины, казалось, только руку протянуть — и всё будет, как было. Незачем было бороться, незачем было отказываться — разве могли миновать, потерять краски и смысл слова, которые шли из сердца в сердце, слова-заклинания, слова-клятвы? Разве могли бесследно исчезнуть эти два года неразлучной жизни, которые были, как песня, как счастье?

Что изменилось? Он-то жив, он всё тот же человек, которого она любила, которому говорила

о любви. Так что же изменилось?— предательски шептала тоска. Ведь и сейчас их двое, Мария и Григорий, как раньше, как прежде...

Лихорадка приводила её, воплощала в любимый образ поздний зимний рассвет, ранние зимние сумерки. То не блеск лампы— это сияют светлые волосы Марии. Это не сестра говорит— это голос Марии.

И капитан Чернов позволял себе мечтать. «Это от лихорадки»,— оправдывался он перед самим собой и уходил в мир, который был миром Марии, её улыбкой, её голосом, ароматом её светлых волос. Посылают телеграмму, и вот приезжает Мария. О нём заботится уже не чужой человек, а Мария. Она тут, улыбается. Осторожно, не причиняя боли, меняет перевязки. И не нужно просить, она сама знает, когда ему хочется пить, когда подать воду. А это так просто— дать телеграмму...

Он диктует сестре текст телеграммы, адрес. «Лежу раненый в госпитале, приезжай». И больше ничего не нужно. Она немедленно явится, своей сияющей улыбкой разгонит кошмары, мучавшие его в ту ночь, на поле боя. Изменится расцветка дней и их мелодия.

«Это от лихорадки, это только от лихорадки»,— оправдывался Григорий, а вечером, когда температура поднималась, радостно погружался в этот мир, мир грёз. Как вор, он ускользал от высоких стен, от железных решёток, возведённых его собственной волей, выкованных его собственным решением, в розовый сад грёз, в счастливую долину любви.

Но потом температура падала, и начиналось раскаяние. Где же сила воли, где несокрушимое упорство? И тем не менее мечта возвращалась, назойливая, непреодолимая. Пока не наступил один день.

В перевязочной появилась новая сестра. Моло-

деньская, почти дитя. Видимо, она лишь начинала работать.

— Снимите бинты,— сказал врач, и ловкие руки стали быстро сматывать бинты с головы Григория.

Он смотрел на неё снизу вверх. Круглое наивное лицо. Сосредоточенно, с забавной серьёзностью она выполняла свою работу. У неё ещё не было навыка — она заменяла его напряжённым вниманием, ясно отражавшимся на её лице.

Бинты сняты. И тогда Григорий увидел на юном личике страх и отвращение. На один миг. Потом круглые щёки покрылись краской стыда, так что на глазах даже слёзы выступили. Всё это продолжалось какую-то долю секунды, и всё же Григорий заметил.

Лёжа потом на койке, он мрачно усмехался злой, презрительной усмешкой. Вот что он хотел предложить Марии — изуродованное лицо. Лицо, вызывающее ужас и отвращение. Чтобы она принуждена была смотреть на него и вспоминать, сколько раз прежде говорила: «Я люблю твои глаза, больше всего я люблю твои глаза».

Теперь уже и в жару капитан Чернов не убегал за высокую степу и железные решётки. Пусть где-то цвёл розовый сад, но он не разрешал себе заглянуть туда даже через приоткрытую калитку.

И вот теперь новый госпиталь. Ещё одна остановка, ещё дополнительное количество километров, которые отделяют его от части, от поля боя, от Марии. Ещё один шаг в гущу людей, в глубь родной земли.

Однажды утром капитан Чернов услышал в коридоре знакомый голос. Он вздрогнул. Чей же это голос? Низкий, грудной. Да, он, несомненно, слышал где-то этот голос.

— Кто это?

Сидящий на койке сосед не понял его.

— Ну, там, в коридоре!

— Ах, это, это наша сестра, Сонечка Козлова.

Им овладело неудержимое желание бежать. Встать с койки, незаметно выйти, выскользнуть из здания госпиталя и пойти куда глаза глядят, всё дальше и дальше, пока не останется никого, кто бы мог узнать его. В необъятную тайгу, шепчущую ворожкой старых деревьев, где по неделям не встретишь человека. Уйти как можно дальше, оставить между Марией и собой тысячи километров, безмерное пространство, противопоставить его собственной слабости, которая может подкрасться, тоске, которая может победить.

Но он не может встать и уйти. Ведь он инвалид, без руки, с искалеченной ногой, нуждающийся в посторонней помощи, в поддержке чужого плеча, в заботе чужих рук, в бопоре.

И вдруг до его сознания доходит: и дурак же ты, дурак, как же узнает тебя Соня Козлова? Ведь ты теперь — запомни это раз навсегда, раз навсегда к этому привыкни — ведь ты теперь не инженер Чернов, которого она знала. Ты обломок человека, бессильно лежащий на больничной койке, с лицом, обмотанным толстым слоем бинтов. Нет, она не может его узнать.

И всё же его сердце забилося сильнее, когда отворилась дверь. Она — это Соня Козлова. Соня не изменилась с тех пор, как он видел её в последний раз. Она словно пришла от Марии, словно сохранила ещё в складках медицинского халата её запах, а в глазах — отражение её образа. Приятельница Марии... Она пробыла с Марией дольше, чем Григорий. Она, конечно, знала, что теперь с ней. Спросить бы хоть, здорова ли она. Сколько ж это месяцев он ничего не знает о ней? Григорий вдруг удивился, как это ему не пришло до сих пор в голову, что

с Марией могло что-нибудь случиться, что она могла заболеть. Он видел её всегда сияющей здоровьем и силой, радостной и неутомимой. А ведь может быть и иначе. Ведь теперь война, и всем нелегко.

Вот она идёт между койками. Окликнуть только, хотя бы совсем тихо — «София», и она торопливо обернётся. Можно будет узнать всё, расспросить.

Он закусил губу и внимательно всматривался в девушку. Не следует глядеть так напряжённо. Человек чувствует взгляд другого. Она обратит внимание на раненого, который так всматривается в неё. Это заставит её задуматься. А вдруг в нём ещё осталось что-то от прежнего Чернова, заметное для внимательных женских глаз.

Он пересилил себя и отвёл глаза. Но всё время видел её. Идёт, приближается. Он не мог не смотреть, не мог не следить за ней взглядом. Она была приветом от Марии, лаской её руки, присланной издалека улыбкой её губ. И вдруг у него блеснула безумная мысль: а может, её действительно прислала Мария? Как-нибудь узнала, разыскала его в путанице госпитальных списков и послала вперёд Софию, а сейчас и сама войдёт?

Какая дичь! Просто София работает здесь, это же ясно. На то она и сестра, чтобы работать в госпитале.

Девушка подошла к нему и поставила на столик лекарство.

— Как вы себя чувствуете с дороги?

Голос! Голос остался неизменённым. Всё пропало. Напрасна была длительная борьба с собой, мучительные ночи, безумие отчаяния перед напором мечты.

— Ничего, хорошо,— сказал он с трудом и сам не узнал собственного голоса, хотя в этот момент не в силах был сознательно изменить его. Сестра пошла дальше. Он облегчённо вздохнул, но в то

же время почувствовал непонятную грусть, словно утратил что-то, словно что-то навсегда исчезло.

Она ходила по палате, раздавала лекарства. Ещё три кровати, ещё две, ещё одна — и конец. Она вышла, ступая тихо, словно боясь разбудить кого-то.

Теперь он каждый раз ожидал её. Она соединяла, связывала его с Марией, несла в себе воспоминание о ней. Быть может, она её недавно видела, быть может, в кармане её халата лежит письмо от Марии. Григорий стал считать дни по дежурствам Сони Козловой и дежурствам других сестёр. Дни Сони Козловой имели другой цвет. В них было беспокойство, дразнящее обаяние. Всякий раз как она подходила, у него замирало сердце. Правда, она несколько не походила на Марию. Худенькая, некрасивая шатенка. Единственное, что было в ней красивое, — это кроткие жарие глаза. Глаза, которые видели Марию. И всё же в обеих было что-то общее. Быть может, лёгкие шаги и та заботливая осторожность в движениях, которая появлялась у Марии при соприкосновении с больным.

Она ничего не замечала, ничего не подозревала. Через несколько дней он совершенно успокоился. Не узнает, не может узнать. От прежнего человека в нём уже ничего не осталось. Он теперь совсем другой, и если бы даже Мария...

Что за дикая и смешная мысль, будто Мария могла не узнать его. Но Соня ведь была только знакомая. Как же ей могло притти в голову, что этот забинтованный с ног до головы раненый — человек, которого она знала, весёлый инженер Чернов, капитан Чернов, который остался на поле боя в зимний, пронизанный сыростью день?

И как раз сегодня сестра, подавая ему лекарство, вдруг спросила:

— До войны вы были инженером?

Он замер, похолодел с головы до ног. Только

бы не вздрогнуть. Не смутиться. Глядя в потолок, он ответил безразличным тоном.

— Инженером? Почему? Нет... Я в армии...

Она не настаивала. Что же это было? Случайность? Догадка? Он не смотрел на неё, пока она не отошла от его койки. Притворялся, что не видит её, когда она появлялась в палате. Но исподтишка следил за ней, провожал её подозрительным и испытующим взглядом, наблюдал за каждым ее движением.

Раненые писали письма. Она остановилась у койки Чернова.

— Может, хотите написать письмо?

Он удивился:

— Письмо? Нет, не нужно. Кому же мне писать?

— Быть может, кто-нибудь ожидает вашего письма,— сказала она ровным, спокойным голосом.

Что это было? Следствие? Ловушка? Требование?

— Никто от меня писем не ждёт,— бросил он резко.

— Этого никогда нельзя знать, никогда нельзя знать,— сказала она многозначительно.

— Не мешайте мне, пожалуйста, я устал,— буркнул он невежливо.

Она улыбнулась и ушла.

В течение двух следующих дней всё было, как обычно. Он пристально наблюдал за ней издали и притворялся спящим, когда она приближалась. Внутренне насторожённый, он ждал, что будет дальше.

Она подаёт ему лекарство в ложечке — сначала он хотел взять сам, но рука дрогнула, лекарство пролилось на одеяло, и теперь она вливает его ему в рот. Вливает и говорит обычным спокойным голосом, в котором, однако, как будто таится тень усмешки:

— Выпейте, Андрей Григорьевич..

Это его новое имя. Почему же Козлова произносит его с такой интонацией, словно хочет подчеркнуть...

Лекарство горькое, неприятное. Григорий громко глотает его. Как назло, всегда, когда хочешь тихо, горло сжимается, и получается глупо.

Соня внимательно смотрит. Вблизи смотрит ему в лицо, Григорий подтягивает одеяло и закрывается им до самого носа. Сестра тихо отходит. Из-за края одеяла за ней следует испытующий взгляд.

Нет, это ему только показалось. Он вообразил, что его могут узнать. Каким образом? Конечно, на голос она должна была обратить внимание сразу, в первый же день. Потом впечатление сходства стирается. А она тогда ничего не заметила.

«Не происходит ли только всё это вследствие того, что я хотя и страшно боюсь быть узнанным, но в то же время не совсем честен с собой, в то же время мне страшно хочется как-нибудь увериться, что я всё тот же, каким и был?» — спрашивал себя раненый в мучительные часы размышлений.

Вечер. Свет ещё не зажжён. Мрак выползает из углов. Кто это сегодня дежурит? Ну, конечно, сейчас должна появиться Соня.

И вот она снова проходит между койками, худощавая, тёмноволосая. Походкой, похожей на походку Марии. Особая походка — тихая, осторожная. Так ходила Мария, пока она находилась в пределах больничного здания, — он сразу заметил это, когда в первый раз зашёл за ней на работу.

Соня уже здесь. Стоит рядом и подаёт термометр. И совсем тихо:

— Нужно известить Марию, Гриша.

Койка вдруг заколебалась под ним, словно на пароходе. Он с трудом вобрал в лёгкие воздух. Теперь нужно что-то сделать, иначе всё пропало.

— Что, сестра? Вы что-то сказали?

— Ты отлично слышал, Гриша, не притворяйся, пожалуйста.

— Но меня зовут вовсе не Григорий, сестра, вы же знаете.

— Ну, конечно, Андрей Георгиевич Коробин, — говорит Соня насмешливо. Потом близко-близко наклоняется к нему.

— Нельзя так, Григорий. Нехорошо.

— Отстаньте от меня, сестра. С ума вы сошли, что ли?

Соня пожимает плечами и уходит. Но Григорий понимает, что всё пропало. Она не дала обмануть себя. Она всё знает, как будто разговаривала с ним в долгие бессонные ночи.

Значит, ещё мало было ему мучений, и теперь, когда самое худшее уже преодолено, всё уже осталось позади, является вот такая Соня Козлова и одним словом зачёркивает все муки и усилия и своим хрупким кулачком колотит в тщательно воздвигнутую стену и ломает выкованную за целые недели страданий железную решётку.

В сущности, глупо отпираться теперь, ведь она не подозревает, а знает. Может, просто поговорить с ней, рассказать всё, как товарищу, заклинить её, умолять о молчании, о том, чтобы она помогла ему и дальше оставаться Коробинным?

Но захочет ли она, согласится ли? Женщины обладают странным упрямством и всегда хотят быть умнее. Да и поймёт ли она его? И как тут говорить со знакомым, но в конце концов только знакомым человеком, о самых тайных своих помыслах и чувствах?

И снова её дежурство. Григорий сердит и раздражён. Соня говорит спокойно:

— Раньше я очень уважала тебя, Григорий, но теперь вижу, что не стоило. Мелкий ты человек.

Воронцов большими шагами ходил по кабинету, ожидая телефонного звонка. Лампа под зелёным абажуром слабо освещала комнату.

Значит, так, Григорий, вероятнее всего, жив — следовало бы радоваться, следовало бы чувствовать глубокую, искреннюю радость и за Григория, и за Марию. Так принял бы это всякий порядочный человек. Но он не мог найти в себе этой радости. Она появилась на секунду, когда он услышал неожиданное известие, потом исчезла, и напрасно он призывал её обратно, напрасно пытался разжечь её в себе.

— Я подлец,— повторял он сквозь стиснутые зубы, но это не помогало.— Опять я тебя теряю,— сказал он громко, так что сам испугался и оглянулся через плечо. Но дверь была заперта, в этот час здесь никого не могло быть.

Да, напрасно он пытался думать о чём-нибудь другом — думалось только об одном: придётся снова потерять Марию. Вот уже второй раз в жизни между ними становится Григорий, и она пойдёт за Григорием. Снова открылись старые раны, казалось, уже подсохшие и безболезненные, и снова начали сочиться живой кровью. Мария, слушательница медицинских курсов, светловолосая Мария, которую он сразу заметил с первого же дня, и немного прошло этих дней, как он принуждён был сказать себе, что влюблён. Нет, тогда она ничего не заметила — дистанция, которая была между лектором и слушательницами, казалась ей полной гарантией того, что с его стороны не может возникнуть чувства к ней. Ах, как ему трудно было с нею, с её прозрачными глазами, которые внимательно смотрели ему в глаза, не видя мужчины, а лишь врача-специалиста, с её всегда присутствующим вниманием, с её забавной детской старательностью! А потом она уехала в Берёзовку на свою первую работу. Сколько раз он собирался тогда поехать, признаться ей! Он написал короткое письмо.

Она ответила. Но тщетно он искал в письме чего-нибудь, кроме обычного дружеского участия. Он написал ещё несколько раз, просто так, ни к чему не обязывающие письма и получал ни к чему не обязывающие ответы.

Потом появился Григорий — и всё пропало. Он знал Григория раньше, встречался с ним, и могло ли притти ему в голову, что этот светловолосый инженер станет ему поперёк пути, что именно ему достанется улыбка, которой ему, Воронцову, ни разу не удалось получить, и любовные слова, и любовь Марии? Почему именно Григорий, а не он?

Дружба, ох, эта дружба, и подлинная, и искренняя, и вместе с тем какая-то ненастоящая, когда они приехали уже как супружеская пара и он стал бывать у них. Вот тогда-то у Марии и появился этот слегка пренебрежительный тон. Пренебрежительный? А быть может, только материнский. И острая боль первых дней превратилась в болезненную, медленно угасающую грусть, в привычку, похожую на привычку к шраму.

Потом Григорий пошёл на фронт, и отношение Марии к Воронцову изменилось. Он стал ей нужен, перестал быть для неё плюшевым мишкой. Теперь уже он мог позволить себе с Марией покровительственный тон, и она не протестовала. Он был ей нужен как друг, как близкий человек. Она слишком болезненно ощущала одиночество.

Какое это имело в конце концов значение, что девять десятых их разговоров относилось к Григорию? Что Мария с жадностью скупца собирала все сведения о Григории того периода, когда она сама его ещё не знала? Для неё всё было одинаково ценно — и что он сказал, и как улыбнулся, когда и по какому вопросу выступал на собрании. Воронцов старательно рылся в памяти — она требовала подробностей, хотела, чтобы в её воспоминаниях о муже он

Был не только слушателем, но и активным участником. Казалось, она ревнует Григория ко всем тем дням, которые он прожил без неё, в которые она его не видела, не знала. И даже к Воронцову, потому что он первый, ещё до неё, узнал Гришу.

Близость между ними росла. Воронцов не обманывал себя — он не существовал для неё как мужчина. Для неё целый мир был в Григории, и Григорий был для неё целым миром. Всё, что она переживала, она переживала как будто через Григория, для Григория. Война, её работа в госпитале — всё было связано с ним, проникнуто его личностью. Но и то уже было почти счастьем — смотреть на неё, быть её другом.

Где-то на самом дне сердца таилась бессознательная надежда, что это изменится, что он станет ей самым близким человеком. Как это случится? Об этом он не думал. Даже в самые тяжёлые, в самые мучительные ночи у него не мелькала мысль о смерти Григория. Он не отдавал себе отчёта, как это может произойти. Но Григорий был далеко, и казалось, что так будет всегда. И самым нужным человеком, человеком, без которого нельзя обойтись, станет не Григорий, а он.

А теперь всё кончилось. Он сжимал кулаки от презрения и отвращения к самому себе. Если бы хоть всё было иначе, если бы дело касалось какого-то там инженера, который погиб в нормальное время... Но ведь это был капитан Чернов, который в первый же день войны отправился на фронт, который заслужил два ордена за храбрость, солдат родины, борющийся за её свободу и независимость... А тут...

Подлец, подлец, подлец, — твердил Воронцов, двозвон стиснутые зубы, словно давая себе пощёчины этим словом. Но тут снова подступила боль. — Вот я и теряю тебя, вот я тебя снова теряю, — стонало сердце. — Радость жизни, её обаяние и радость, её солнечную красу.

Протяжно, пронзительно затрещал телефонный звонок.

— Алло!

В трубке звенело, трещало. Слышались отрывки какого-то разговора, торопливые, перебивающие друг друга голоса.

— Алло, алло, алло!

В трубке затрещало и утихло.

— Воронцов, говорит Воронцов, это ты, Саша? Искажённый голос с другого конца пытался перекричать шум на линии.

— Виктор? Да, это я. В чём дело?

— Саша, слушай, Саша! Алло, алло, да-да, мы разговариваем! Саша, у тебя в госпитале лежит капитан Чернов?

— Как, как?

— Чернов, Чернов! Челябинск, Евгения, Роман, Наталья, Ольга, Виктор!

— Чернов?

— Да, да!

— Подожди, сейчас проверю. Подожди, я по другому телефону.

Воронцов терпеливо ждал. Издали, словно из пропасти, доносились отрывочные слова. Где-то на линии переговаривались телефонистки. Где-то упрямо стучал аппарат Морзе.

— Чернов?

— Да, да!

— Инициалы?

— Г. И., Григорий Иванович.

— Нет. У нас есть Чернышёв, Черник, Черняков — и это всё.

Воронцов отчаянно закричал в трубку:

— Нет, нет, не может быть! Не может быть! Два месяца тому назад был? Два месяца тому назад?

— Подожди, проверю.

Снова что-то зашумело, затрещало, забулькало.

Воронцов дул в трубку. Он боялся, что не расслышит ответа.

— У нас вообще никогда такого не было, по крайней мере в этом году не было.

— Но ведь телеграмма пришла, телеграмма! Должен быть такой.

— Вы разговариваете?

— Не мешайте! Разговариваем, разговариваем, телеграмма пришла, телеграмма!

— Я сам телеграфировал?

— Нет, нет, сестра, Соня Козлова, Козлова!

— Козлова? Есть у нас такая.

— Спроси, спроси Козлову!

Опять шум в проводах. И, наконец, издали пробился сквозь хаос звуков еле слышный голос:

— Её сегодня нет, сегодня у неё выходной день.

Воронцов опустил трубку на рычажок. Лишь позднее он сообразил, что даже не поблагодарил, а главное, не договорился, ничего не выяснил.

Коротко, резко прозвучал звонок.

— Разговор закончен?

— Закончен, закончен,— сказал он устало. Он был смертельно утомлён. Что он скажет Марии, когда она завтра спросит его?

— Скажу, что не добился соединения,— решил он.

— Почему ты не ложишься спать?

Мария со вздохом встала и погасила лампу. Станный человек эта мать! Сначала ругала за бесчувственность, а теперь требует, чтобы она спала, спи́ла в эту ночь, когда всё решается...

Она на цыпочках подошла к окну и приподняла чутью закрывающую его бумагу. Она задыхалась в маленькой комнате. Ей хотелось выйти наружу, вдыхать прохладный воздух, почувствовать на лице движение ветра, удары его мокрых крыльев. Но

уже поздно, нечего болтаться по дождю. К тому же каждую минуту может появиться Воронцов. Нужно бодрствовать и ждать.

За окном постепенно проступили туманные, едва различимые контуры. Там тоже вздымались стены и потолок нависших тёмных туч, сковывающих землю. Мир был сжат, замер в ожидании. И молчал.

— Почему я не радуюсь? — спрашивала она самое себя. Можно ведь порадоваться, хоть минуту, хоть несколько часов, независимо от того, что окажется потом. Но изнутри словно раздавался суровый запрет, сковывающий сердце. Неужели так будет всегда? Неужели она никогда не почувствует настоящей радости и настоящей скорби? Всё стёрлось, перепуталось, чувства были туманны и неопределённые, как рассеянные ветром тучи. Нет, неправда это, будто несчастье облагораживает человека. Несчастье опустошало, обедняло, несчастье рождало в сердце враждебность к людям, гнев и эгоизм. Когда она была счастлива — ах, ведь это же правда, а не сказка, не легенда, что когда-то она была глубоко, радостно счастлива! Это счастье переливалось через край, и тогда у неё для всякого были радостная улыбка и добрый совет и в сердце нетерпеливое желание, чтобы все были счастливы.

А потом пришло известие, что погиб Григорий. Несчастье облагораживает... Нет, нет, это сказки для благовоспитанных детей, фальшивые, приторные и лживые. Ведь вот же она стала злая, опустошалась её душа, и в ней горьким урожаем всходили сорные травы, приносящие ядовитые семена.

И вот теперь пришло известие. Верное? Ложное? Это ещё видно будет. Но каковым бы оно ни оказалось, она не умела воспринять его так, как следовало бы. Она уже не была прежней, простой и обычной Марией. Несчастье скрутило её, что-то в ней навсегда сломало.

Несчастье? Но ведь если Соня не ошибалась, если телеграмма не была иллюзией и сном, тогда окажется, что не было никакого несчастья, а просто недоразумение, которое теперь выясняется.

Телеграмма — она ощупью подошла к столу отыскать бумажку. Она была тут. Обе. Та, что возвещала смерть, и та, что говорила о жизни.

Ей показалось, что в прихожей раздался звонок. У неё перехватило дыхание, но уже в следующий момент она поняла, что ошиблась. Никто не звонил, звенело у нее в ушах. Сколько времени прошло с тех пор, как ушёл Воронцов? Может быть, он уже что-нибудь узнал? Но что — хорошее или дурное? Если дурное... то он сидит теперь, наверное, и думает, как сказать об этом? Как известить, что обманчивый сон рассеялся, что нужно вернуться в мрак и пустоту, в тот холодный, тёмный мир, где нет Григория. Он будет откладывать, искать отговорок.

Как невыносимо тянется время! Сколько уже прошло — минут или часов? Посмотреть? Но тогда надо пойти в комнату матери, она проснётся и опять начнёт ворчать. Делать нечего, придётся терпеливо ждать.

Впрочем, может быть и так, что этой ночью он вовсе не добьётся разговора. Мало ли людей поважнее её и по вопросам куда серьёзнее её дел разговаривает в эту ночь с далёким городом, где работает теперь Соня, где, может быть, находится Григорий? Вопросы о танках, самолётах, орудиях, — всё то, от чего зависит жизнь миллионов. А тут ведь только одно отчаявшееся сердце... одна человеческая жизнь, которая, неизвестно ещё, горит ли большим огоньком или уже погасла.

Глаза привыкли к темноте, из мрака проступили очертания мебели, предметов. На столике фотография Гриши. Она встала на колени на стуле и взяла её в руки. Ни что, что темно. Она знала наизусть каж-

дую линию, каждое пятнышко, теши, форму лба, изгиб ресниц, чудесную радость глаз, крылатые брови, откинутые назад волосы, дерзкое, весёлое Гришино лицо. Она вскочила и бросилась в переднюю. Но это снова галлюцинация — никто не звонил. В передней стояла мёртвая тишина.

Мария снова подошла к окну. Ночной мрак молчал, ему не было дела до человеческой муки, до человеческого ожидания. В большом доме справа выделялись чёрные прямоугольники окон. Люди спали глубоким сном. Только в верхнем этаже тёмная бумага сдвинулась, внутри горел свет, узкой полоской пробивающийся возле самой рамы. Кто бодрствовал там, за окном, в длинную тёмную ночь? Кто это не может заснуть, кто сидит у постели больного? Кто это, кто мучится так же, как она?

За дверью спала мать. Глубоким, крепким сном. Словно её и нет — Марии. Одиночество было непреодолимо, полное, безнадежное. Никому на свете не было дела до того, что с ней происходит. И Воронцов не идёт, всё ещё не идёт...

Правда, Воронцов тоже бодрствует. Сидит в своём кабинете и волнуется. За неё и за себя.

Ещё одно доказательство, что она теперь другая. Думает только о себе, о себе, о себе. Что несчастье не облагораживает, а портит, сушит, опустошает человека.

Она провела ладонью по глазам. Глаза резало, жгло. В комнате становилось всё светлее. Выступили очертания зеркала, заблестела его зеленоватая поверхность. С фотографии ещё неясно, но уже видно взглянули глаза Гриши. Сухие веточки в вазе на столе — их уже давно пора было выбросить. Раньше она никогда бы этого не допустила; теперь как-то не замечала их. Разве её собственная жизнь не была сухой веткой, отломленной от зелёного дерева счастья?

Бледный, мокрый, больной рассвет вставал за окном. Скоро надо идти на работу. А Воронцова всё не видно. Верно, уже пошёл домой спать. Ночь прошла, прошла напрасно, и утром всё будет так же, как было вечером.

Снова начинался сырой, раскисший зимний день без снега и мороза, день мрачной, печальной зимы без Гриши. И казалось, что это утро тоже ничего не принесёт с собой — так оно было похоже на все другие утра, которые давали одно и то же сознание, что Гриши нет. Что его уже никогда не будет.

В соседней комнате закрипела кровать. Татьяна Петровна громко зевала, слышно было, как она, потягиваясь, хрустнула суставами. Зашлёпали шаги. Она заглянула в комнату, прикрывая худые плечи шерстяным платком.

— Ты уже встала? Рано ещё.

— Мне сегодня надо пораньше быть в госпитале, — сказала Мария, приглаживая рукой волосы. Да, матери и в голову не придёт, что она могла и вовсе не ложиться.

В кухне полилась вода. Татьяна Петровна ставила чайник. Мария взглянула в зеркало на своё утомлённое, потускневшее лицо. Гриша глядел на неё с фотографии, молодой, радостный, непобедимый. Она вздохнула. Теперь уж она знала почти наверное, что телеграмма от Сони была каким-то глупым недоразумением. Верней была первая бумага, официальное извещение.

Телефонные звонки, телеграммы, телефонные звонки, телеграммы. И наконец:

— Мария, это правда, Григорий жив. Был тяжело ранен. Теперь он инвалид. Он хотел скрыться от тебя.

Она стояла, смертельно бледная, изо всех сил стискивая руки, и, не моргая, смотрела прямо в глаза Воронцову огромными остановившимися зрачками.

Она не могла понять, что он ей говорит. Не улавливала смысла слов. Григорий хотел скрыться? Что он такое несёт? Григорий жив, но если так, то что может значить всё остальное?

— Не понимаю,— сказала она глухо.

— Он жив, нащёлся, нужно привезти его сюда!

— Я поеду,— рванулась она.

Он положил ей руку на плечо.

— Нет, Мария. Мы поедem вместе. Полетим самолётом. Может, надо будет помочь в чём-нибудь. Так будет лучше.

Она хотела возразить. Опять Воронцов, и тут он. Зачем? Что тут такого трудного? Григорий жив, и нужно за ним ехать — кажется, просто и ясно.

Но тут она почувствовала, что у неё подгибаются ноги, что силы её покинули, в глазах мутится, в ушах шум. Да, пусть уж лучше Воронцов будет с ней, пусть уж будет...

— Самолёт летит завтра утром. Я заказал билеты. Заеду за тобой... — Он взглянул на часы. — Да, заеду в половине десятого. Теперь мне надо идти, закончить дела перед отъездом.

Она слышала его, как сквозь туман. И даже впоследствии никогда не могла вспомнить, как пережила эти часы до следующего дня, до назначенного срока.

Она стояла совершенно одетая, в берете, в перчатках и ждала. Но вот, наконец, звонок в прихожей. Воронцов! На аэродром. Она кинулась открывать дверь, больно ударившись об ящик, стоявший в прихожей. Открыла — это был не Воронцов. Какой-то мальчик подал ей конверт.

— От доктора Воронцова.

— Как? Где? А где он сам?— крикнула она так, что мальчик отступил на шаг.

— Доктор улетел.

— Как улетел?

Ей показалось, что земля расступается у неё под ногами. Что же это такое опять? Что за невероятная история? Неужели не будет конца этим диким недоразумениям, ошибкам, этим безжалостным пыткам?

— Улетел,— повторил мальчик, внимательно наблюдая за ней и готовый броситься наутёк при первом её движении. У неё было такое выражение лица, что он принял её за сумасшедшую. Воспользовавшись тем, что она опустила глаза на письмо, он торопливо нырнул в тьму лестничной клетки. Ноги в рваных башмаках загрохотали, как канонада.

Без конца читала она письмо, стараясь уловить его смысл, шопотом повторяя отдельные предложения, словно это могло помочь ей понять.

«Не следует волновать его»— это, значит, её присутствие, что ли, его взволнует? Инвалид— ладно, мало ли инвалидов? Какое это имеет отношение к Григорию, к Григорию и к ней? А может, всё это неправда? Может, Воронцов обманул её, Григория нет в живых, а он теперь боится сказать об этом?

Нет, нет, Григорий жив и ждёт её. Она сама, а не ещё кто, должна за ним ехать. Нельзя же откладывать, оттягивать, когда можно увидеть, увидеть Гришины глаза, упасть в его объятия, услышать его голос, выплакаться на его груди. Какое право имеет Воронцов решать за неё, оставить её дома, как маленького ребёнка? Какое право имеет он первым увидеть Григория?

Она сжала кулаки. Она ненавидела в этот момент Воронцова до бешенства. Какое право он имеет, какое право...

Мария выбежала из дому. Телефон, номер аэродрома. Ведь должен же лететь какой-нибудь самолёт,

должен же лететь, она полетит, догонит, будет там с Григорием...

— Через три дня. Да, через три дня. Какое учреждение?

Она бессильно опустила трубку. Три дня — они уже будут к этому времени на обратном пути. И ведь нельзя же сослаться ни на какое учреждение, ведь она не официальное лицо. Приходилось сдаться.

Её снова окружил туман, в котором стирались все очертания, слова становились непонятными, время перестало быть временем. И в этом тумане рождался необъяснимый, подкрадывающийся на бесшумных лапах страх. Страх разрастался, хватал за сердце, она непрестанно чувствовала это сердце, тяжёлый, маленький комочек, причиняющий мучительную боль.

Мать лихорадочно носилась по квартире, что-то торопливо стирала, протирала, приводила в порядок к приезду Григория. Становилась на колени перед иконой и молилась вслух, прерывая благодарственные молитвы вздохами. Но у Марии вылетела из рук первая же вазочка, которую она принялась мыть, и мать сердито выгнала ее из кухни.

— Иди, иди себе, уж я лучше сама.

Где-то высоко в воздухе рокотал мотор. Летел самолёт за Григорием. Как могли так страшно обидеть её, причинить ей такую обиду? Но теперь уже поздно, сделать ничего нельзя, надо как-нибудь пережить это время.

Она взяла дополнительное дежурство за Раису, к которой приехал с фронта жених. Не думать, ни о чём не думать. Бинты, иод, лекарства, кривая температура. Она старалась быть машинной, безусловно выполняющей свою работу. Внимательно смотрела, как капли лекарства падают в ложечку, овальные, зеленоватые капли, — кроме этих капель, ничто на свете не существовало. Ртуть в термометре показывала

температуру раненого, и в этот момент в мире не существовало ничего, кроме тоненького столбика ртути. Предметы вдруг приняли другой вид. Они перестали быть предметами, давно знакомыми, неинтересными вещами. Обнаружился ряд подробностей, которые раньше как бы не существовали. Они наполнились жизнью, собственными, разнообразными свойствами. Обнаружилось сложное переплетение ниток в бинтах, у края стакана оказался иной цвет, металл ложечки был исчерчен сетью мелких чёрточек. Одеяло перестало быть гладкой поверхностью, на нём вырос лес серебристых ворсинок, пугливо вздрагивающих при каждом движении лежащего под одеялом тела. Предметы, как в сказке, ожили, зашевелились. Открылся новый, таинственный, не известный раньше мирок. Мария упорно, усиленно всматривалась и замечала всё новые и новые подробности. И это было хорошее средство — о том, о самом важном, не думалось. Только время от времени тело словно прохватывало горячим ветром.

Операции, перевязки, обход больных с профессором, ночное дежурство и снова обход больных, и снова операции...

— Ты бы отдохнула немного, — сказала одна из сестёр. Но Мария отчаянно замахала рукой. Нет, нет, ни за что на свете! Если надо, она возьмёт дежурство ещё за кого-нибудь, лишь бы не отдыхать! Ей казалось, что она сойдёт с ума, если уйдёт отсюда, вернётся домой, сядет в кресло или ляжет в кровать. Она не прикасалась и мыслями к тому, самому важному, и не объясняла самой себе, почему ~~то~~ надо работать, работать без отдыха. Она старательно обходила, трусливо бежала от этого.

Пылала голова, но рука безошибочно отсчитывала капли, и глаза безошибочно видели тёмный столбик ртути и малейшие изменения в лице больного, которому она меняла перевязку.

Она задремала лишь к вечеру, за чаем, который ей поставили на столике в дежурке. Этот сон охватил её внезапно, склонил её голову на край стола и погрузил в беспмятство.

И тут как раз сестра Татьяна положила ей руку на плечо.

— Мария, привезли твоего мужа.

Некрасивое, морщинистое лицо этой пожилой женщины освещала радостная улыбка. Мария моментально очнулась. В дверях стоял Воронцов, но на его лице улыбки не было.

— Иди, он ждёт — сказал он, и Мария послушно пошла, слыша шум в ушах. Сердце так колотилось, что, казалось, вот-вот оно разорвётся. Она споткнулась на ступеньке, и Воронцов поддержал её под локоть.

— Чувствует он себя хорошо. Дорога его не утомила.

Мария шла быстро, почти бежала. Он остановил её. Она изумлённо взглянула на него.

— Мария, я должен предупредить тебя...

Ледяная струя пробежала по её телу. Пальцы рук и ног одеревятели. Что ещё страшное может открыться? Что всё оказалось ошибкой? Гриши нет в живых?

Но ведь Татьяна ясно сказала: привезли мужа. И вдруг как вспышка молнии: «Почему привезли, почему не приехал? Ну, что за вздор, ведь он лежал в госпитале, был ранен, ведь ей уже сказали, что он инвалид...»

Это слово лишь теперь дошло до неё. Но в нём не было смысла. Оно было странным, пустым звуком.

— Предупредить?

— Да, предупредить. Григорий был тяжело ранен. Он ещё болен. С ним надо быть поосторожнее. Понимаешь?

Нет, она не понимала. Воронцов был бледен и не смотрел на неё.

— Почему?

— Ах, ты спрашиваешь, будто маленькая,— беспомощно сказал он.

Она стояла на лестнице, не понимая, зачем он остановил её.

— Он... Мария, он очень изувечен...

И снова ледяная струя. Откуда-то из черепа, по всему телу, к пальцам ног.

— Ты должна держать себя в руках, Мария... Видишь ли, чтобы в первый момент...

Ледяной холод не исчезал. Он держал в клещах всё тело, замораживал кожу на щеках, мучительно стягивал губы.

— Он... болезненно впечатлителен, боится... Так ты...

Она молчаливо кивнула головой. Воронцов сильно сжал её руку. Она не ответила на пожатие. Она шла по коридору обычным шагом, чувствуя, что застывает, что она не живой человек, а ледяная статуя. Это был уже не страх, а нечто страшнее самого страха, нечто, сжимающее сердце железной рукой. Если Воронцов... Если даже Воронцов...

Дверь. Врач ещё раз пожал её руку и повернул ручку, пропуская её вперёд.

Хорошо, что в жилах нет крови, один лишь лёд. Хорошо, что всё тело застыло. Там в кресле кто-то сидит. В первый момент она чуть не отпрянула,— это же ошибка. Какое счастье, что оледеневшее тело не слушается мыслей! Мария подходит к креслу. Деревязка сдвинута на голову. Он, видимо, хотел этого, требовал, чтобы её сдвинули, чтобы она сразу увидела. Ужасные, багрово-синие ожоги. Толстые швы рубцов. Нечеловеческий, вдавленный внутрь глаз. Взгляд побежал дальше. Пустой рукав рубашки, толсто обмотанная бинтами, неподвижная нога в гип-

се. Это был Григорий. Страшным усилием воли она овладела собой. Подошла, стала на колени перед креслом, зная, что так надо. Рядом стояла другая Мария — та, которая смотрела на всё это со стороны и приказывала, что нужно делать. Но эта, стоящая на коленях, с ужасом почувствовала, что её обнимает одна рука, единственная рука калеки. Она прислонилась головой к груди человека, мёртвыми губами прошептала имя:

— Григорий, Григорий...

Воронцов вышел на цыпочках, осторожно прикрыв за собой дверь.

— Марийка...

По приказу той, другой Марии, она превозмогла себя и подняла глаза на изуродованное лицо. В глазах у неё померкло, она ничего не видела. Но та, другая, сурово и безжалостно повторяла, что именно так надо.

— Я не хотел возвращаться к тебе, не хотел, чтобы ты видела,— услышала она хриплый, срывающийся шопот.

Следовало ответить. Она искала подходящего ответа. Но не нашла ничего. В отчаянии она ухватилась за первое подвернувшееся слово.

— Знаю...

— Не сердись, любимая... Виктор рассказал мне, я понял, что так нельзя...

Ах да, Воронцов... Как будто стало немного легче. Воронцов уже сказал всё, что следовало. Что ещё, что ещё от неё требуется?

Прикосновение руки к волосам. Она не могла не думать упорно, с ужасом о том, что это единственная рука. Она шевельнулась — ведь нельзя было, как раньше, опереться локтями о его колени. Следует ещё раз взглянуть на его лицо, чтобы он не заметил, как она боится этого.

Мария содрогнулась.

— Милая моя...

Она прикрыла глаза. Это могло сойти за радость, за упоение и счастье — он ведь не мог догадаться, что она смотрит в ужасную, холодную пустоту сердца, где в эту минуту нет ничего, кроме страха... Какие чудовищные увечья приходилось ей видеть, перевязывать, лечить в этом госпитале! И никогда, никогда — только теперь, в первый раз...

Да, но ведь никто из них не был её мужем. Только Григорий.

Она с ужасом думала о том, что будет дальше. Надо ведь что-то говорить, что-то делать, но тогда он заметит...

— Как мне было тяжело, Марийка, как страшно тяжело! Но теперь.

Что теперь? Что теперь?

Она с трудом стряхнула с себя оцепенение и, не глядя, холодной, безжизненной рукой погладила его руку.

— Какое счастье быть опять с тобой...

Она торопливо кивнула. Он ничего не видел, ничего не замечал. Только бы ни о чём не спрашивал, только бы не нужно было рассказывать, говорить... Да, да, Воронцов... Что такое рассказал ему Воронцов?

Дверь приоткрылась.

— Ну, Мария Павловна, придётся на минутку разлучить вас с мужем, — весело сказал дежурный врач. — Отдохните немного, а мы тут займёмся больным.

— Я... — слабо возразила Мария, но врач махнул рукой.

— Речи быть не может! Отдохнуть, и больше никаких! Потом мы вас пригласим.

Мария с усилием улынулась сидящему в кресле калеке и вышла. В дежурке она тяжело опустилась на стул и оперлась подбородком на сложенные руки.

Значит, это и есть Григорий. Так кончается счастье, молодость...

— Мария...

Воронцов погладил её руку. Она враждебно взглянула на него.

— Не печалься... Это так, в первую минуту... Будем лечить... Можно сделать многое...

Она усмехнулась сухой, злой улыбочкой.

— Можно сделать многое... Что же ты можешь сделать, великий врач?

— Протезы... Пластические операции...

— Знаю, знаю...

Что может знать Воронцов об ужасающей обездоленности сердца, о чёрной пустоте, разверзшейся в душе? Шумит, гудит сухой ветер, пересыпает с места на место мелкий летучий песок. И кажется сейчас, что нет в сердце ничего, кроме этого песка и злого удушливого ветра.

— Тебе нужно отдохнуть, Мария. Слишком много этих впечатлений. Потом будет легче... Разумеется, я понимаю...

Нет, он ничего не понимал. Какие впечатления? Хуже всего именно то, что никаких впечатлений не было. Марии казалось, будто она уже предчувствовала, давно знала, что всё будет так. Остынет, опустеет, высохнет сердце и не сможет уже ничего ни чувствовать, ни переживать. В ней нарастал гнев против этого человека, который сидит напротив и сочувственно смотрит на неё. Как он смеет ей сочувствовать? Она ведь никого не просила о жалости. Она хочет остаться одна со своим несчастьем.

— Ну, что ты так смотришь, мудрый доктор? Жалеешь меня, да? Нечего жалеть, нечего строить грустную физиономию! Как оно есть, так и будет, и точка!

— Как есть, Мария?

Он наклонил голову и не смотрел на неё. Машинально разглаживал морщины на скатерти.

— Я ведь не знаю, как оно есть,— прибавил он тихо.

— Не знаешь? Очень просто и обыкновенно. Буду работать в госпитале и ухаживать за ним всю жизнь, слышишь, всю жизнь! Пусть он такой, без ноги, без руки, с изуродованным лицом. Слышишь? А что же ещё может быть?

— Не сердись, Мария. Так и должно быть. Только... Только это не так, Мария,— закончил он, избегая её взгляда.

— Как это — не так?

— Ты бы должна это сказать другим тоном.

— Ах, вот как! С пафосом, со слезами и прикладыванием рук к сердцу?

— Необязательно. Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю. Не надо, Мария, нельзя так.

Она посмотрела на него горящими глазами.

— Да? Скажите, пожалуйста! А то, что случилось с моей жизнью, моим счастьем,— это можно, это в порядке вещей? Это тебя не волнует, не возмущает? Только я, я вечно должна быть такой, как полагается, примерной, владеющей собой, разумной, спокойной! Да?

— Не одна ты, Мария!— Его голос звучал сурово.— Ты одна из тысяч и тысяч.

— Эту мораль я уже сто раз от тебя слышала. Оттого, что я не одна, мне и должно быть легче, так, что ли?— прервала она насмешливо.

— Да, поэтому тебе должно быть легче. Ты должна понять. Впрочем, к чему сейчас этот разговор?

думаю, ещё будет время. А теперь ты должна отдохнуть. Успокоиться. Всё, что ты говоришь, так не похоже на тебя... Такое не твоё...

— Нет, именно такова я и есть.

— Нет. Другая.

— Тебе лучше знать, да?

— Мне лучше знать.

— Ну и ладно. Ты знай своё, а я знаю своё.
В дверь постучали.

— Мария Павловна, профессор просит. Вашему мужу перевязку меняют.

Она кивнула головой Воронцову и вышла. Муж...
Странное слово, что оно означает? Раньше оно означало: Григорий. А теперь?

— А вот и Мария Павловна. Мы не хотели без вас начинать. Надо, наконец, поассистировать и при перевязках мужа, а?— добродушно усмехнулся профессор.

Она машинально подавала бинты, тампоны, спирт. Руки её не дрожали, она не чувствовала волнения. Всё, как всегда. Старый профессор, разумеется, считал, что для неё это счастье — помогать при перевязке Григория. Не хотел начинать без неё.

Она ассистировала в этом зале при сотнях, сотнях перевязок. Сотни раз подавала бинты, инструменты. Этот лежащий на операционном столе человеческий обрубок — это Григорий. Смешно и глупо — это Григорий. Вот бы профессор вдруг узнал, что она думает и чувствует в этот момент! Пожалуй, приказал бы ей выйти и больше сюда не показываться. Несколько раз профессор поднимал глаза от своей работы и окидывал её добрым, понимающим взглядом. Да, почтенному профессору всё это представлялось простым и легким. Нашёлся муж, о котором по ошибке сообщили, что он погиб, и жена сходит с ума от радости. Ничего иного профессор и представить себе не мог. Ей должно доставлять счастье, что вот она свёртывает бинты для собственного мужа. Он ждал её, не хотел без неё начинать — какая доброта, какая деликатность!

Кровь в белой мисочке — это кровь Григория. Мокрые, склеившиеся волосы — волосы Григория. По-

степенно исчезающая под марлей красная маска — это лицо Григория.

«И так будет всю жизнь!» — подумала она, тщательно, ровно свёртывая бинт. Григорий вернётся домой, в тот самый дом, который они вместе создавали и украшали. Он будет в той самой комнате, где каждый предмет мебелировки, каждая безделушка напоминает о каком-нибудь совместно пережитом моменте. Но ведь Григория и Марии — прежних — уже нет. Есть какие-то новые люди. Она стала другой... хотя этого пока никто не видит. Но и это в конце концов будет замечено. Не может быть, чтобы царившее в её сердце смятение не отразилось на лице, не положило на него своё клеймо.

— Кончено, можете забирать своего мужа, — пошутил профессор, и Мария машинально, ловко, как она это делала уже сотни раз, толкнула тележку, на которой лежал Григорий, к дверям.

От усталости перед глазами мелькали чёрные пятна. Болели ноги, болели руки, сердцем овладевала тягучая, безнадежная скука. Вечно одно и то же, одно и то же. Кричал раненый из шестого номера, умирал майор во втором этаже, выписывался из госпиталя молодой боец из десятой палаты.

Теперь она впервые почувствовала усталость до полного изнеможения. Ей приходилось преодолевать себя, чтобы выполнить то, что от неё требовалось. Прежде ей давала радость и силу улыбка Григория, его голос, взгляд его глаз. Гриша был с ней, днём и ночью был с ней, вместе с ней подходил к койке раненого, нашептывал на ухо слова, которые следовало сказать, помогал приподнимать беспомощные мужские тела, поддерживал слабеющие руки, вместе с нею проходил по госпитальному коридору. Что бы она ни делала, она делала вместе с ним и для него.

Его раны она бинтовала, бинтуя раны сотен людей, его жаждающим устами подавала воду, ему улыбалась. Каждый раненый был Гришей.

А теперь Гриша лежал тут, рядом, каждую минуту можно было войти и увидеть, каждую минуту можно было услышать его голос, не во сне, не в мечтах, а наяву. Но это не давало ни сил, ни радости, ни счастья, как прежде.

«Ведь я же работаю, работаю, как и прежде», — успокаивала Мария сама себя, но в то же время она отлично знала, что не как прежде. Вода, которую она подавала раненым, была простой водой, а не волшебным напитком, возвращающим жизнь. Рука, положенная на лоб, лишь оценивала высоту температуры, её прикосновение не приносило утешения. Улыбка с усилием появлялась на губах и не освещала палату верой и надеждой. И ей самой работа не давала силы, как раньше, но высасывала все соки, вызывала нестерпимые головные боли, боль в руках, ногах, апатию и равнодушие. Лица утратили свои индивидуальные черты, стали одним лицом раненого, чужим, ничего не говорящим. Истории человеческой жизни, различные, переливающиеся сотнями огней и теней, стали все одной и той же лёгкой и неинтересной историей. Нет, теперь профессор уже не мог бы сказать: «Это не я, это вы, Мария Павловна, лечите раненых». Теперь она только выполняла свои обязанности, выполняла поручения, как автомат, как машина, точная, но мёртвая и равнодушная. И оказывалось, что этого недостаточно. Оказывалось, что это не всё равно. Раньше она передавала раненым свою радость, свою веру, свою силу, свою молодость и бодрость. Теперь она подавала только воду и бишты, порошки и капли.

Что ж, она не хуже и не лучше сотен других сестёр, которые работают нормально и не загромождают себе голову какими-то особыми миссиями, — го-

орилла она себе, но знала, что это ложь. Она умела, мела иначе — прежде. А теперь всё кончилось каким-то странным, непонятным образом.

Боролась в смертельной схватке с врагом рогатина, истекала кровью. А она, Мария, стояла в стороне. Стояла и смотрела утомлёнными глазами на происходящее. Она уже не шла вперёд в великом марше, не поддерживала знамени, не одолевала врага. Она была омертвевшей тканью в напрягшемся в борьбе теле, она была сухой веткой на мощном, зелёном дереве, сопротивляющемся мрачному вихрю.

Иногда ей казалось, что одно не ведёт за собой другого. Можно сказать себе, что кончилась личная жизнь, её маленькая, частная жизнь, но осталось великое дело, которому она служит, и ему можно служить как следует.

Но это не так. Всё это объединено, связано неразрывной связью. В сердце, казалось, всё было мертво, прошло время великих волнений, надежд и тревог. Умерла не только любовь к Григорию — умерла она сама. Мария теперь была лишь своим собственным воспоминанием, бледным и мутным, как отражение в илистой воде. Сердце обросло жёсткой и шершавой корой, и внутрь не проникало ничто — ни радость, ни боль, ни свет, который прежде горел неугасимыми огнями.

— Как ты себя чувствуешь?

Раненый обернул к Марии лицо, ещё наполовину закрытое белым коконом бинтов.

— Лучше. Хорошо. Можно бы уже снять эти дряпки.

— Снимут, снимут, когда время придёт. Пока потерпи ещё.

— Вы не больны, сестра?

Она вздрогнула.

— Нет. А что?

— Не знаю, мне чего-то показалось.

Мария отрицательно покачала головой.

— У вас найдётся время?

— Пока есть.

Она хотела улыбнуться ему, но как-то не вышло. Губы болезненно искривились. Тёмный глаз из-под белых полос бинта внимательно смотрел на неё. Она почувствовала себя смущённой, словно этот молодой парень мог видеть её насквозь, знал, что происходит в её сердце.

— Вы бы не могли почитать мне письмо?

— Письмо? Ты разве ещё получил?

— Нет, — сконфуженно пробормотал он отворачиваясь. — То самое.

— Да ты же знаешь его наизусть.

— Это ничего. Наизусть одно дело, а послушать — совсем другое. Только, может, вам, сестра, не хочется?

— Нет, нет, что ты! Я с удовольствием прочту. Давай.

Буквы было уже трудно разобрать. Сотни раз прочитанные, они слились, стёрлись на бумаге, смятой, потемневшей, в потрескавшихся от жара, мокрых от пота руках. Она ведь тоже знала это письмо наизусть.

— «Дорогой мой Вася»...

Он опёрся рукой на подушки, чтобы удобнее было слушать. Он ждал знакомых слов, улыбка приоткрыла ещё бескровные губы.

— «Кланяюсь тебе от всего сердца, и мама, и сестрёнка Фрося, и тётка, и все соседи. Ты не пишешь, куда тебя ранило.

— «Я очень рада», — прервал раненый.

— Да, да, прости, пожалуйста, я пропустила. «Я очень рада, что уже знаю, где ты, знаю твой адрес. Почему ты не пишешь, куда тебя ранило»...

Она на секунду умолкла. Она вспомнила следующую фразу, и сердце её сжалось. Он удивлённо глянул на неё.

— Сейчас, сейчас, здесь так смазано...

— «Так я тебе хочу написать»...— подсказал он.

— Да, да, конечно... «Так я тебе хочу написать, что, как бы ни было, я всё равно за тебя пойду, так ты мне напиши, куда тебя ранило, и хоть бы ты стал инвалидом, так ты не думай, потому что всё равно, я всегда такая же, как была»...

Голос её осекся. Вася протянул руку.

— Отдайте.

— Ты уже не хочешь, чтоб я читала?

Она только теперь с испугом услышала свой невыразительный, глухой голос.

— Нет, не хочу. Отдайте.

В его голосе слышалось нетерпение. Он взял у неё истрёпанный листок и осторожно положил его под подушку, неприязненно взглянув на Марию.

— Спасибо, сестра, больше не надо.

— Ну, как хочешь.

— Вот именно.

Он повернулся лицом к стене, как бы давая понять, что разговор окончен.

— Захотелось спать?

— Да. Посплю немного.

Она поправила ему одеяло и тихо вышла. В коридоре она остановилась у окна. Что это? Почему? Сколько раз она читала ему это письмо, которое было для него радостью, счастьем, утверждением веры в жизнь, в людей, в будущее! Что же изменилось? Она уже не умела даже прочесть письмо, она точно слышала слова того блеска и звучания, которые в них заключались, которые она сама им придала. Какое право имела она отнимать веру и надежду у этого парня, которого сама вернула к жизни?

«Что с тобой случилось? Кем ты стала? — спра-

шивала она себя, прижимаясь пылающим лбом к стеклу.— Мария, кто же ты теперь такая?»

Обыкновенное письмо простой деревенской девушки, которая не знает... Насколько иначе читала она это письмо прежде. Она читала радостным, уверенным голосом. Это было то же чувство, та же уверенность, та же вера, которая жила в ней.

Но теперь это письмо стало только жалким, истрёпанным клочком бумаги, загрязнённым несчётными прикосновениями рук. Ничего не значащие слова, за которыми таилось лишь одно: бессознательная ложь, предвестник глубочайших разочарований, обещания, которые невозможно выполнить, залог горьких переживаний для этих двоих, которые теперь, когда они вдаль друг от друга, живут светлой иллюзией всепобеждающей любви, которая сильнее всего в мире.

Но, видно, такая любовь не существует, видно, есть вещи, которые ей не по силам. Придёт день, и эти двое переживут то, что пережила она. Может быть, иначе, может быть, не совсем так, но сущность переживания будет та же. Чёрная пропасть, пустота на месте того, что было, обломки мечтаний, беспощадный разгром.

Позади неё в коридоре раздались голоса.

— Сегодня ему хуже, зайди к нему, Раиса, — сказала женщина-врач. Да, теперь уже её не звали успокоить боль, придать бодрости, принести покой и надежду. Теперь звали Раису, которая прежде сама столько раз звала её на помощь, не умея справиться с человеческим отчаянием, с человеческим страданием.

«Что же с тобой случилось, Мария? Кем ты стала, Мария? Добросовестной медицинской сестрой, в работе которой нет жизни, души, улыбки? И больше ничем».

Она изменила не только Грише. Она предала

что-то большее, и эта измена привела её к опустошению. Нет, ей нечего больше дать людям, она беднее самой жалкой нищей.

Она медленно пошла вниз. Знакомый, всё тот же коридор. Сколькими голосами говорил он с ней, когда она торопилась в палаты раненых, в операционный зал, когда поспешно бежала, готовая броситься на каждый зов, чуткая, внимательная, полная внутренней радости и деятельной любви ко всем тем, кто лежал в этих палатах!

Теперь коридор молчал, был обыкновенным, белым, прохладным коридором, с узкой красной полосой дорожки. Молчали запертые двери палат. От стен веяло холодом, от тех самых стен, которые ещё недавно казались стенами родного дома.

«Это ты теперь стала кем-то другим, это ты изменилась»,— говорила она себе, спускаясь по лестнице. Сколько по этим ступеням уходило людей, которых она спасла, сберегла, вырвала из объятий смерти, и они ушли отсюда, сохраняя в памяти её имя! А теперь от неё отвернулся и Вася. И не потому, что она плохо прочла письмо— он каким-то шестым чувством почувствовал её измену. Потому что она предала и его.

А может быть, просто она сама была обманута, ужасно обманута жизнью, судьбой, всем, во что верила, что считала самым важным, непоколебимым, единственно истинным?

Но если так, то откуда же это беспокойство, откуда это ощущение вины, этот стыд, который не позволял ей подходить с поднятой головой к койкам раненых, не позволял смотреть им в глаза, ожидающие, вопрошающие, которым раньше она всегда умела дать ответ?

«Чем же ты стала, Мария?»—спрашивала она своё сердце, и всё рассыпалось в её руках в прах и пыль.

Для доктора Воронцова наступили тяжкие, чёрные дни. Это началось неожиданно, коварно подкралось и, прежде чем он опомнился, овладело им. Эта тёмная, недобрая власть росла, крепла, и он был бессилен перед ней.

По коридору идёт Мария. Под глазами у неё круги. Исхудавшее, побледневшее лицо. Это Мария, любимая, единственная женщина на земле. Руки бесильно опущены, плечи сутулятся. Ах, схватить её в объятия, увезти далеко-далеко, на цветущие поляны, в горы, где шумят чистые ручьи. Заслонить её от солнца зелёной веткой, заставить её смотреть в глубокую лазурь и не думать ни о чём, ни о чём...

Мария подаёт инструменты, тихо, ловко, быстро, как всегда. Горькая морщинка у губ, которой раньше не было. Потухшие глаза. Ах, увезти её отсюда, признаться в своей любви, в своей муке, сказать всё, что хочется сказать, обо всех этих долгих, одиноких днях, печальных ночах, о всех этих годах, с момента, когда полюбил её. Ведь у него ничего в жизни не было, кроме работы. Та женщина, жена, с которой он давно разошёлся, которая не дала ему ничего, кроме огорчений, была лишь воспоминанием, бледным и неприятным, глупой ошибкой студента, ничего ещё не знающего о жизни. А потом уже никто, никого — и, наконец, прилежная слушательница, Мария. Каким светом озаряли её волосы аудиторию, какую радость давал взгляд искренних детских глаз, широко раскрытых, когда она заслушивается!

Сколько нужно было побороть в себе, сколько перестрадать, глядя на их любовь, открытую, захлёбывающуюся, бросающуюся в глаза необузданным весельем, безграничной преданностью...

А теперь там, на третьем этаже, сидит в кресле калека, обрубок человека, и это муж Марии. И нет уже между ними прежней любви. Да, он ведь сам сказал ей об этом, сурово и жёстко. Быть может, именно

потому, что любил её. Он хотел быть честным, он всю жизнь был честным, порядочным человеком. Он никогда никому не делал гадостей, и у него были принципы, которых он неотступно придерживался, независимо от обстоятельств.

Но теперь его сердце точил червь. Во имя чего, почему должна пропадать эта обаятельная молодость? Её блеск гаснет, подёргивается тенью ясность глаз, меркнет даже золото её волос. Вянет, меркнет на глазах радость и краса жизни. Каждый день проводит жёсткие линии на нежном личике, с каждым днём исчезает розовый оттенок губ, переходя в бумажную белизну.

Что же произошло? Гибла, изводила себя Мария,— наверху Григорий часами сидел, уставившись в одну точку на белой стене. Его нельзя было обмануть, его не могли ввести в заблуждение улыбки Марии, её мягкие слова. Он ведь знал свою жену, и она любила его когда-то, как она любила его!.. Он не мог не чувствовать, не понимать, что происходит.

Так почему должны терзаться все трое? Подкрадывалась злая мысль и нашептывала: лучше бы уж мучился один Григорий. Для него и так всё кончено, ведь Мария не любит его. А она ещё может полюбить, она молода, в ней столько жизни и сил. Может полюбить именно его, Воронцова. Он выходит её, отогреет окоченевшее сердце, научит её снова смеяться, снова любить жизнь. Он был самым близким ей человеком теперь, когда Григорий угрюмо смотрел в одну точку на стене. Кого же ещё она может полюбить? Только его. И они были бы счастливы.

«Что же важнее,— нашептывала подлая мысль,— счастье двоих молодых, здоровых людей или долг по отношению к калеке? Если бы ещё она его любила, но, видимо, не было и не могло быть любви. И даже если... то пусть лучше пропадает один, чем все трое...»

Он боролся с этими мыслями, проклинал их. Но

они приходили вновь и вновь. Достаточно было встретить Марию в коридоре, достаточно было посмотреть на неё, слышать её голос в дежурке, достаточно было подумать о ней, и тотчас раздавался коварный, вкрадчивый шопот. О счастье и о несчастье, о том, что надо спасать человека, который гибнет, человека, которого любишь.

— Вы плохо выглядите,— обратил на него внимание профессор, и Воронцов покраснел, как мальчик. Ему показалось, что его поймали на месте преступления, что зоркие глаза профессора проникли в тайну, которую он хранил, как зеницу ока, что тому известны его омерзительные, подлые, мысли, что он видит, как червь точит душу Воронцова и как порядочный до сих пор человек изменяет всем своим принципам, придумывает целую теорию, чтобы оправдать собственное себялюбие и жажду личного счастья.

И опять являлись на помощь аргументы, что ведь главное тут — Мария, Мария, которая погибает и которую во что бы то ни стало надо спасти.

— Я немного устал,— ответил он спокойно, склонившись над инструментами, чтобы профессор не видел выражения его глаз. Да, на его лице отражались все мысли, все бессонные ночи, когда он ворочался на постели и грыз пальцы в дикой тоске и отчаянии. Не помогали ни попытки заглушить тоску работой, ни его старания избегать Марии. Она всегда, всегда стояла перед его глазами, и даже в краткие часы сна он видел её бледное, с каждым днём всё более бледное лицо, почти прозрачные виски с голубыми жилками и жалобная складка у губ.

Оставалось одно средство: уехать, бежать, перейти работать в другой госпиталь. Но верное ли это средство? Оставить её на страдания, на гибель, покинуть в самые тяжкие дни? И куда можно бежать от чувства, которое пойдёт за ним всюду — неотступное, мучительное, усиленное разлукой?

Он боялся встреч с Марией, боялся разговоров с Григорием. Но Григорий и не затрагивал болезненных тем. Он просто лечился. Он часами смотрел в одну точку или упражнял свою левую руку, постоянно, систематически, но тоже как-то машинально, словно не в этом была суть. Что он думал, что переживал? Этим он ни с кем не делился. Между ним и Воронцовым установился натянутый, искусственный тон, словно вопрос температуры и заживления ожогов был единственно достойным внимания. Мария тихо ступала, говорила с мужем мягким голосом, он просил, благодарил, как послушный пациент, и всё. Повидимому, и оставаясь наедине, они не разговаривали друг с другом о том, что их мучило, что заволакивало тенью и бледностью лицо Марии, что не давало быстро заживать ранам Григория, которые без конца гноились.

Но под внешним спокойствием таилось другое. Воронцов заметил взгляд инвалида, которым тот окидывал его, когда полагал, что врач этого не видит. В этом взгляде горела ненависть, обнажённая, ничем не прикрытая, не сдерживаемая ненависть. И Воронцов знал, откуда она берётся. Григорий не мог ему простить того разговора в госпитале, разговора, который заставил его изменить решение, возвратиться. Воронцов был виновником того, что сейчас происходило, и капитан Чернов с тоской думал о своей муке, когда обрекал себя на вечную разлуку. Если бы не Воронцов... Ненависть была в его взгляде, и Воронцов видел и понимал это.

А теперь уже, видимо, нехватало сил и энергии для нового решения. Григорий, должно быть, решил безучастно ждать, что будет дальше. На Марию он не смотрел, он избегал её взгляда.

— Мы лжём, все лжём,— горько и упрямо повторял себе Воронцов.— Не лучше ли разрубить этот запутанный узел, увезти её, начать новую жизнь, за-

быть, что существует инвалид Чернов? Кто имеет право требовать от молодой, красивой, сильной женщины, чтобы она навсегда приковала себя к калекке? Кто может требовать от него, молодого, способного врача, чтобы он навсегда отказался от счастья?

Издеваясь над самим собой, вызывал он в памяти собственные аргументы, которыми он когда-то убеждал Григория, а потом Марию. Не одна — тысячи, тысячи женщин принимают сейчас в свой дом таких же, как Григорий...

Но тут ведь совершенно особый случай, совершенно иные обстоятельства...

«Потому, что ты её любишь», — издевался в душе злобный карлик, и Воронцов потом обливался от муки, он же знал, что тут не было ничего исключительного, а просто одна из сотен и тысяч историй, ставших повседневностью последнего времени.

Он замыкался в себе, выносил беспощадные решения. В течение нескольких дней старался не смотреть на Марию, не замечать её бледных щёк, страдальчески сдвинутых бровей. Как можно больше времени посвящал Григорию. Все свободные минуты просиживал в его палате, занимая его разговорами. Он спорил на политические темы, рассказывал о госпитале и чувствовал, что ненависть Григория не уменьшается, а в нём самом растёт враждебность к этому человеку, бывшему другу, который уже раз отнял у него любимую женщину, а теперь снова встал между ним и ею. Минутами врачу казалось, что и он ненавидит — ненавидит этого капитана Чернова, отдавшего родине свою молодость и силы, своё счастье и радость.

«Зачем ты пришёл, зачем стал между нами второй раз? Какое ты имеешь право приковывать к себе красоту, молодость той, которая для меня была счастьем всей моей жизни, а с тобой пропадёт?»

Да, как раз это и говорил ему Григорий. Потому

Он и не хотел возвращаться домой, потому и хотел остаться для Марии мёртвым. И вот он сам, сам поехал за Григорием, убедил его, привёз...

«А ведь ты мог солгать. Мог сказать, что телеграмма была ошибкой. Мог укрепить Григория в его решении, помочь ему перевестись в другой госпиталь, где бы его никто не знал. Мог заставить молчать эту глупую Козлову, которая ничего не понимает. И Мария была бы свободна. И не было бы этой ужасной, мучительной истории, в которой мы запутались и погибнем, как мухи в паутине.

Да, это было так просто... Ах, подлец, подлец, конечно, ты мог совершить и такую подлость, если уж ты способен на такие мысли, если это пришло тебе в голову».

За окном была ночь, долгая, безнадежная, дождливая ночь, и на стене шевелились тени, рисуя перед бессонными глазами арабески. Где же выход, что же можно сделать? Что правильно и справедливо?

И хуже всего было как раз то, что Ворожцов прекрасно знал, что справедливо и правильно. Но это было выше его сил. Медленно, незаметно он скатывался в омерзительную бездну, где надо было открыто сказать себе, что ты не больше, чем негодяй. Между тем средств удержаться на этой наклонной плоскости не было. Нужно было сползать, сползать по ней, находить лицемерные аргументы, сочинять утончённую ложь, чтобы доказать своей совести: это не эгоизм, а заботы о жизни и благе любимого человека.

Время, которое он проводил дома, было мукой, мукой было и пребывание в госпитале. Госпиталь, кроме страданий раненых, усилий врачей, криков отчаяния, страстной борьбы со смертью, повседневного труда, кроме всего этого, госпиталь скрывал в своих стенах ещё трагедию трёх людей. Три человека, которые говорили друг с другом о без-

различных вещах или совсем не говорили, люди, тесно связанные, скованные цепью страдания. И хуже всего, что это не было чистое и честное страдание, по крайней мере у него. Нет, это было страдание унижительное, погружающее в грязь, в мрак, где чёрная мысль в поисках выхода из западни нашёптывает злые слова.

— Приехала девушка к Васе,— сообщила Раиса.

Так называли его все в госпитале, этого упрянца, который сперва наполнил весь госпиталь своим безумным отчаянием, перетревожил всех, нарушил весь распорядок, принудил дать ему отдельную палату, няньчиться с ним, как с ребёнком, а потом успокоился и терпеливо переносил свои страдания. Это было делом Марии, и когда-то — как страшно давно это было, хотя так мало времени отделяло её от тех дней! — она гордилась этим, словно родила сына.

Но теперь всё миновало. Нечем было гордиться, «истиннейшая правда» оказалась ложью. Она обманула наивного парня, который ей поверил. Насильно вырвала его из сумерек, в которые он погружался, влила в его сердце волю к жизни. Какое право имела она это делать?

Тогда она верила, что имеет это право. Но теперь чистое пламя, освещающее жизнь, погасло. Нет, ничего не понимали те, кто думал, что её улыбка погасла, что её голос потерял звучность, потому что Гриша... Что она переживает несчастье любимого человека... Всё это ложь. Погасла вера, которая давала силу и радость. В сердце осталась чёрная, зияющая пустота.

И вот теперь приехала Васина девушка. Он ждёт её так, как ему велела Мария, с радостью, с верой. Приехала девушка из далёкой деревни, с трудом до-

ставала билеты на поезда, чтобы привезти своего парня домой. Теперь она увидит, убедится, что того, кого она любила, беспощадная рука войны изуродовала, изменила до неузнаваемости. Он уже не тот, он даже не напоминает того Васю, с которым они когда-то встречались в каком-нибудь вишнёвом саду.

Это уже другой человек, непохожий, неизвестный.

— Отвести её наверх или пусть подождёт здесь?

— Отведи. Пусть там поможет ему, если захочет.

Станный тон Марии удивил Раису.

— То есть как — если захочет?

Мария овладела собой и рассмеялась сухим, неприятным смехом.

— Ах ты, дурочка! Ведь это же твоя обязанность помочь собраться раненому!

— Ну да, разумеется, — успокоилась Раиса и ушла.

Нет, Раиса ничего не понимала. Да ведь это не она была женой Гриши. Не ей принесли изуродованный обломок человека, которого она когда-то любила. Всё так просто: приехала девушка и должна увести домой инвалида... Теперь она его увидит в первый раз. И убедится, что одно дело писать письма с уверениями в своей готовности на всё, а другое — стать лицом к лицу с действительностью. Она будет кричать при виде его, как он кричал в первые дни. Или упадёт в обморок? Бросится бежать? Помешается?

Мария подошла к дверям и отступила. Какая-то непреодолимая сила тянула её наверх посмотреть, что там происходит.

Послышались шаги в коридоре. Это Раиса, Раиса, конечно, бежит звать на помощь. Бежит за ней, за Марией. Чтобы она села рядом с девушкой, взяла её за руки, объяснила ей. Чтобы успокоила, убедилась, вновь свела этих двоих людей, между которыми встала страшная судьба и раздавила, растоптала, разорвала в клочья всё, что между ними было...

Шаги миновали дверь и удалились. Это не Раиса. Марией опять овладело непреодолимое искушение итти посмотреть. Её тянуло туда, как преступника к месту преступления. Ведь это же она привела их к встрече... Ведь если бы не она...

Она тихо открыла дверь и на цыпочках стала подниматься по лестнице. Задерживая дыхание, приближалась она к той комнате. Слышны крики? Нет, ей показалось.

И вдруг её поразил непонятный звук, неожиданный, невозможный.

Там, за дверью, смеялись. То не был истерический смех отчаяния. Это был обыкновенный, нормальный, радостный смех.

Она открыла дверь. На стуле сидел совершенно одетый Вася. Жалобно свисал пустой рукав гимнастёрки. На недостающий глаз было лихо надвинут чуб.

Деревенская девушка стояла на коленях перед стулом и пыталась склоть булавками подвёрнутую штанину, штанину, в которой не было ноги. И оба смеялись—Вася, глядя на её усилия, и стоящая на коленях девушка в платочке. Раиса стояла рядом и собирала вещи.

Девушка поднялась с колен, и Мария увидела выбившиеся из-под платка светлые волосы, голубые глаза и круглое улыбающееся, счастливое лицо.

Мария остановилась, словно её толкнули в грудь. Вася поднял на неё свой чёрный глаз и подмигнул ей.

— Вот, Оля, та сестра, про которую я писал тебе, сестра Мария...

Девушка протянула руку. Мария почувствовала пожатие жёсткой, загрубевшей руки. Как заколдованная, ничего не понимая, она смотрела в весёлые, голубые глаза.

— Спасибо,— сказала девушка коротко и просто и снова обернулась к Васе. Видно было, что ей ни до кого нет дела, что всё это неважно по сравнению

с тем, что она увозит домой своего Васю. Она тщательно застёгивала ему воротник, смахивала какие-то невидимые пылинки с рукава. Взяла прислонённый к стенке костыль и хозяйственно осмотрела его.

— Крепок ли?

— Не бойся, выдержит, я не такой уж тяжёлый, одной ногой и одной рукой меньше,—весело, в виде шутки, сказал Вася. И девушка приняла это, как шутку. Из-за губ блеснули влажные белые зубы.

— Потом ему протезы сделают, ничего не будет заметно,—горячо уверяла Раиса.

Девушка пожала плечами.

— А на что? Говорят, с протезой тяжело. У нас один, ещё с той войны, есть в деревне инвалид, тоже с протезой, так он говорил, что тяжело, с костылями лучше. А что заметно, так это разве стыд какой, чтоб скрывать? Вот ещё! Пусть все видят, как он воевал! Правда, Вася?

Раиса снова сочла необходимым вмешаться:

— Те были старые протезы. Теперь другое дело.

— Ну, разве что,—равнодушно согласилась девушка.— А то и костыль хорошо, правда? Походишь по саду, по дороге, привыкнешь, научишься. Здесь, конечно, трудно,—заметила она, критически оглядев паркет.

— Само собой привыкну,—согласился он.

— Так пойдём, что ли?

Она торопилась, ей уже очень хотелось вывести своего Васю из больничных стен, взять его домой под свою опеку.

— Машина идёт на вокзал, доведёт вас,—сказала Мария сухо.

— Вот и хорошо, а то с этими пересадками ещё заблудишься,—обрадовалась Оля.

Раиса помогла Васе встать. Оля быстро подала ему костыль. Он опёрся на него и неожиданно оказался высоким и стройным.

— Ох, какой худой!— изумилась девушка.— Плохо здесь кормили, что ли?— спросила она, словно в комнате и не было сестёр. Она была уже отсюда далеко, и он уже не принадлежал госпиталю, принадлежал только ей.

— Ишь какая! Сколько я здесь месяцев пролежал, шутка это, думаешь?

— Ну, ничего, уж я тебя откормлю,— заверила Оля и собрала с пола узелки. Вася подал руку Раисе. Потом неуклюже проковылял несколько шагов с костылём и остановился возле Марии.

— Если я вам напишу, сестрица, вы мне ответите? Марию задел его тон. Он уже не помнит, что пережил здесь в госпитале, забыл о мучках страха и тревоги, о приступах глубокого отчаяния, которые ей приходилось успокаивать, о всех этих месяцах, когда её вызывали к нему, потому что никто не мог с ним справиться.

— Конечно, отвечу,— ответила она сухо.

Парень возился со своим костылём. Она не понимала, чего ему нужно. И вдруг он обнял её своей единственной рукой и поцеловал в щёку. Тёмная прядка волос коснулась её глаз. У неё сжалось в горле, и она погладила его по голове, как гладила много раз раньше, когда он, ещё раненый и больной, лежал, как белая запелёнутая кукла.

— Счастливого пути, Вася...

Марии вдруг показалось, что вот от неё уходит нечто светлое и чистое, единственное светлое и чистое, о чём она могла вспомнить. Остановить, поймать мгновение; светлое дуновение минувшего, что пахло нежным ароматом прежних дней, напомнило прежнюю Марию.

Она ещё раз пожала жёсткую руку девушки.
— Желаю вам счастья.

Громко стучал костыль по коридору. Он ещё

не умел с ним обращаться, шёл неуклюже, подпрыгивая, как большая подстреленная птица.

Загудел мотор. Бывшие пациенты махали Марии руками. В окне машины ещё раз мелькнул яркий пласточек Оли.

Мария вернулась в дежурку. Её щёки пылали. Она встала у окна и прижалась лицом к стеклу. Неужели она оказалась настолько хуже этой деревенской девушки? Почему та нашла в себе для встречи радостный смех, обычные, спокойные слова — ни отчаяния, ни страха? В этом калеке она безошибочно узнала своего Васю, без колебаний признала и приняла его. Не философствовала по ночам, не боролась с собой, а просто явилась, и как написала Васе, так и приняла его. Её письмо было честным до конца. Она не видит надобности в том, чтобы скрывать его увечья, она хочет, чтобы все видели, как её Вася воевал.

Она застонала, закусив губы. Почему? Эта девушка, наверно, не стала бы произносить высоких слов о родине, об идеалах, о жертвах. Для неё тут вообще не было никакой жертвы — просто она с радостью встретила своего парня, гордилась им и, счастливая, взяла на себя роль его попечительницы.

А ведь это был деревенский парень, который возвращался на землю без руки и без ноги.

Мария сжала губы и решительным движением закрыла за собой дверь. Она направилась в палату Гриши. Да, теперь надо пойти посмотреть, уяснить себе некоторые вещи.

Но у порога силы покинули её. Нет, она не могла ещё раз смотреть на то, что произошло с Гришей. Это был не Гриша, что б она себе ни говорила, это все-таки был не Гриша. Чужой, незнакомый человек, который только тем отличался от других раненых, что их она перевязывала спокойно, с сочувствием, с глубоким стремлением принести облегчение и помощь, этот возбуждал в ней непреодолимый страх.

— Профессор позволил взять тебя домой, Григорий,— сказала Мария, как всегда, избегая взгляда мужа.

— Домой...— повторил он протяжно.

— Нечего тут больше сидеть,— сустилась она с искусственным оживлением.— Хватит с тебя госпиталья!

Он исподтишка наблюдал за ней, не говоря ни слова. Она собирала какие-то вещи, делая вид, что страшно занята. Только бы он не заметил, только бы не заметил...

Ведь самое страшное ещё впереди, ещё ожидает её. Дом. Там уже нельзя будет отговариваться работой, там уже нельзя будет вести себя только как с пациентом. Там уже будет дом, муж, нормальная жизнь, бдительные глаза матери, с недоверием наблюдающие её. Там будет ещё во сто раз труднее, чем до сих пор.

Её охватывал леденящий страх. Нельзя же ответить профессору, когда он сообщил ей, что состояние больного позволяет закончить лечение дома: «Ах нет, я не хочу, я прошу, умоляю, задержите его здесь как можно дольше, оттяните, по возможности, этот страшный момент, когда мы останемся лицом к лицу дома, в нашей комнате, где мы прожили счастливые годы любви».

Пришлось преодолеть этот страх, улыбнуться и ещё раз обмануть этого наивного старика, который так радовался, что здоровье Григория улучшилось.

Мать, конечно, не выдержала и рассказала соседям. Или, может, они сами догадались, сами ждали? В окнах мелькали лица, двери на лестницу приоткрывались. Триумфальное шествие. Лица соседок в приоткрытых дверях, дети, путающиеся под ногами санитаров и беспомощная фигура Григория среди всего этого...

Первый этаж, второй, словно путь на Голгофу.

И, наконец, дверь, которую можно закрыть за собой, чтобы отгородиться от любопытных, от сочувствующих людских взглядов.

Комната. Лицо Григория бледнеет от волнения. Ведь это их комната, комната их счастья. Он касается рукой письменного стола, переставляет на нём фотографию Марии. Берёт свою фотографию в серебряной рамке, фотографию Григория, которого уже нет. «Нужно было её спрятать,— думает Мария,— но теперь уже поздно...»

Мать суетится, всхлипывает, но это слёзы радости. Она подходит к Григорию и робко, осторожно гладит его по плечу. Для неё Григорий — всё тот же Григорий.

Санитары прощаются и уходят. Уходит Воронцов, который, конечно, счёл необходимым присутствовать при всём этом. Мария пытается удержать его. Но Воронцов, как всегда, ничего не понимает. Мария отчаянно цепляется за мать, задаёт ей какие-то бессмысленные вопросы, не слушает ответов. Она вся внутренне дрожит. И вот чай выпит, стрелки часов молниеносно бегут вперёд, старушка целует Григория, прощаясь с ним на ночь. Мария вскакивает в испуге. Без надобности снимает со стола скатерть, тщательно складывает её. Что же дальше, что дальше?

Григорий тихо говорит:

— Ты бы, Мария, передвинула для себя диванчик из той комнаты.

Мария не смотрит на него. Под изумлённым взглядом матери она передвигает диван в комнату, где для него даже и места нет, он торчит посередине, как непрошенный гость.

— Я устал,— говорит Григорий,— прости, но я сейчас лягу.

Григорий ложится, тихо говорит: «Спокойной ночи» — и отворачивается к стене.

И Мария одна легла спать. Но сон не идёт. Сердце заливает мучительный стыд. Чего она боялась? Она почувствовала себя такой маленькой и жалкой. В этот момент не он был калекой — увечным, загрязнённым и недостойным было её сердце.

На сквере было грязно, крупные капли дождя падали с ветвей, голых и серых. Мария шла, глядя на широко разлившиеся лужи. Они вышли к реке. Лёд ещё не растаял, он почти не отличался от грязи на сквере, его истоптали во всех направлениях узкими тропинками ноги прохожих, на нём лежала сажа, сухие листья.

Она облокотилась на каменную балюстраду. Когда-то здесь текла вода, живая, сверкающая, подвижная, торопящаяся в свой далёкий путь. Когда-то здесь проплывали лодки, полные смеющейся молодёжью, дышал сильной грудью пароход, распарывая сверкающую поверхность. Когда-то в зеркале воды отражалось небо с плывущими в нём облаками и юная, улыбающаяся зелень деревьев. Теперь не было ничего. Мёртвая, грязная поверхность истоптанного льда.

Воронцов кашлянул. Она обернулась к нему. Он смотрел на неё неуверенным, смущённым взглядом. Он проглотил слюну, она видела, как вздрогнула его шея и как при этом беспомощно и глупо зашевелились его маленькие усики. Ему нелегко было сказать, для чего он просил её об этой встрече. Она могла бы помочь ему, но не хотела.

Она плотнее застегнула воротник пальто. От замёрзшего русла реки тянуло холодом. Она глядела на грязный лёд, на застывшую кору, на безнадёжную серость.

— Я не могу смотреть на всё это... Мария. Ты знаешь, я люблю тебя. Любил ещё раньше, чем ты вышла замуж за Григория.

— На курсах? — спросила она равнодушно, как будто речь шла не о ней.

— Да, на курсах... Ты не замечала этого или не хотела замечать...

— Я не знала,— сказала она спокойно.— И если бы даже знала...

— Да, да, ты хочешь сказать, что это тоже ничего бы не изменило,— прервал он с необычным для него раздражением.— Ты можешь не говорить, мне этого, я это прекрасно знаю... Но видишь ли... С тех пор это и продолжается. Ты вышла за Гришу,— ну, ладно. Я примирился с судьбой, ты же видела, что я не добивался твоего расположения, не пытался соперничать с Григорием... Я вёл себя, как друг, не правда ли, Мария?

— Да,— согласилась она, глядя за реку на серые дома, возвышающиеся напротив. Окна, окна без конца... За каждым окном кто-то живёт, за каждым окном таится человеческая жизнь, человеческая жизнь смотрит на замёрзшую реку в серый, туманный день, сквозь мутные стёкла.

— А потом...— голос Воронцова дрогнул.— Потом я думал... Мне казалось, что я стал тебе нужен. Тебе никогда не было со мной скучно, так мне казалось... У нас было столько общих интересов, столько общих дел... Я думал, всё образуется и случится то, что не случилось тогда, когда я познакомился с тобой...

Она, не слушая, кивала головой.

Всё было, как во сне, как в мягком, густом тумане. Нереальны были слова, события, предметы. Да, ведь она уже давно живёт, как во сне, в тяжком, удушающем, сером сне...

— А теперь я всё смотрю... И больше не могу выдержать. Ты мучишься, гибнешь на глазах, стала другим человеком...

Значит, и он уже это знает, значит, и он видит,

что она стала кем-то другим, что уже нет прежней Марии...

— Я понимаю, можно жертвовать собой, если любишь... Хотя, даже в таких случаях, самопожертвование не всегда даёт хорошие результаты для обеих сторон... Но тут ведь я вижу, Мария, что ты его уже не любишь, ты не можешь его любить...

Она молчала. Серая река, серые дома, серый день. Чего же он так волнуется, чего он так мучится, этот Воронцов? И ведь ещё совсем недавно он говорил другое. Есть что-то омерзительное в том, что он говорит, и во всей этой его муке. И, наконец, что стоят в мире страдания и муки? Что в мире имеет какую-либо ценность? И он считает возможным с подобной мерзостью обращаться к ней? Впрочем, какое право она имеет требовать другого отношения?

— Да, да, не отрицай, ты уже не любишь его.

Зачем он это говорит? Она ведь и не отрицала. Ей всё казалось, что звуки его слов доносятся откуда-то издалека, из-за густого, серого тумана, что они, собственно говоря, обращены не к ней и плывут мимо неё, как эта невидимая под льдом вода, журчащая по илистому дну.

— Не только не любишь. Не сердись за то, что я скажу, но ведь это ясно, ты к нему испытываешь страх... Я же вижу, понимаю. Нет смысла... Ведь и Григорий не может не чувствовать, не понимать этого. Что же ты даёшь ему? Уход? Но это может делать любая сестра, не будучи его женой.

Да, верно... Она впервые осознала, что действительно Воронцов прав. Он, наверно, уже почувствовал, заметил. Как странно, ведь она ни разу не подумала о том, что это не могло укрыться от Григория...

— Ты сама несчастна и ему не принесёшь счастья. Ты думаешь, легко это, когда человек, который раньше тебя любил, сейчас испытывает к тебе только страх? Нет, Мария, ты не имеешь права делать этого,

не имеешь права губить свою жизнь... Во имя чего? Теперь я понимаю, как он был прав, не желая возвращаться, хотя и мне это показалось тогда нелепым...

Нет, это не вода шумела подо льдом, это говорил Воронцов. Мария пыталась прорвать завесу серого тумана, как-то яснее услышать его слова, ответить, что-то сделать. Но она стояла молчаливая и неподвижная, уставившись на след чьей-то ноги, ясно отпечатавшийся на засыпанной сажей поверхности грязного льда. Кто это прошёл здесь, оставил такой чёткий и прочный отпечаток своих шагов? Счастливый человек? Или кто-то, несущий бремя непосильного горя? Не прочнее ли человеческого счастья, человеческой жизни, человеческих планов этот след?

— Ты не имеешь права ставить крест над своей жизнью. Ты молодая, сильная, способная. Перед тобой ещё много переживаний и много дел. Из тебя ничего не выйдет, если ты прикуёшь себя к этому человеку.

Да, когда-то она была молода. Ей казалось тогда, что этой молодости не будет конца и края, что ею можно одарить весь мир. Что эта молодость никогда не кончится, и чем щедрее её разбрасываешь, тем богаче она расцветает. Сила, да, была крылатая сила, которая несла её сквозь жизнь и тоже казалась неисчерпаемой. Это она помогала переносить раненых с койки на койку, позволяла дежурить, не утомляя даже глаз, по сорок восемь часов, когда стали прибывать первые транспорты раненых. Но теперь она ушла, покинула её.словно воздух вышел из цветного шарика. Плывёт, переливается яркими красками цветной воздушный шарик. За ним бегут детские ножки, радостно хлопают детские ручонки. С улыбкой смотрят взрослые, как летит вверх шарик, радужная мечта, мыльный пузырь, в котором отражается солнце. Но вот лопнула оболочка, и на земле лежит грязная, сморщенная тряпочка, без красок, без блеска, никому не нужный лоскуток. Такой была её молодость, та-

кой была её сила — как цветной шарик, который живёт несколько часов.

— Ты слушаешь, Мария?

Она кивнула головой. Конечно, она слышала его слова, упрямо, непрестанно просачивающиеся из-за завесы серого тумана.

— Ты должна, ты обязана жить жизнью нормального, здорового человека. Я люблю тебя, слышишь, Мария? Я люблю тебя...

— Но я ведь не люблю тебя, Виктор, — сказала она медленно, ясно, продолжая рассматривать отпечаток чужей ноги на грязном льду.

— Я знаю, Мария... Я не требую этого от тебя сейчас... Поезжай со мной, мы уедем отсюда, я могу перевестись в другое место... Мы поедem далеко, ты увидишь горы, вздохнёшь другим воздухом... Там уже скоро зацветут фруктовые деревья. Ты увидишь сады, розы. Забудешь обо всём, постепенно забудешь... И ведь... я тебе не противен... Я думаю, ты ко мне немного привязалась за всё это время... Ты знаешь меня, знаешь, какой я. Я люблю тебя, Мария, и постараюсь, чтобы тебе было со мной хорошо, так хорошо, как только может быть. Я постараюсь...

Тёмный дым шёл из трубы напротив, ветер сбивал его вниз, сталкивал на крыши домов. Дым расплзался, тёмными клубами наполнял улицу. Глаза безучастно следили за его движениями, за его тёмной волной, переливающейся через края трубы, за всё новыми и новыми клубами. Ей показалось, что она ощущает странный запах этого дыма — ах, да, похож на запах гари в Берёзовке...

— Поедем, слышишь, Мария? Поедем с тобой вдвоём, начнём жизнь сызнова. Будем вместе работать, ты ведь умеешь, любишь работать. Будем вместе читать, учиться... Ты отдохнёшь...

— А Григорий? — спросила она тихо.

— Я понимаю тебя, Мария. Но ты сама знаешь,

ты же сама чувствуешь... Ему ничуть не легче оттого, что ты с ним! Он не будет в обиде... Он же видит, понимает, что с тобой делается. И ведь он сам хотел... Подумай, если бы не эта Соня, всё было бы иначе...

Ну да, ясно, тогда было бы иначе. И вдруг каким-то образом серый туман разорвался, и сквозь узкую щель она увидела: Григория нет в живых. Он погиб где-то далеко-далеко. Она его больше никогда не увидит. Поездка в Берёзовку... Одинокие часы... Нет Григория, его уже больше никогда не будет...

Мария почувствовала внезапный острый страх перед этой мыслью. Растаяли, исчезли все те дни, которые наступили потом — телеграмма, сообщение, приезд Григория. Она зашаталась.

— Что с тобой, Мария? — забеспокоился он.

— Ничего, ничего...

Но ведь Григория привезли, Григорий теперь дома, а она стоит у реки с Воронцовым. То всё прошло, миновало.

— Мария, ответь же мне, наконец, что ты думаешь? Почему ты молчишь?

Завеса тумана надвинулась снова. След на льду, ясный отпечаток ноги. Чёрная сажа осыпалась по краям и ещё отчётливее обрисовывает углубление. Чего, собственно, надо от неё Воронцову? Ей захотелось остаться одной, чтобы никто не говорил, не торопил, не смотрел. Один на один с этим отпечатком на льду, отпечатком ноги неизвестного человека, который шёл неизвестно откуда и неизвестно куда направлялся... Ведь сейчас что-то произошло, мелькнуло, непонятное и неуловимое, и надо как-то выкарабкаться из этого густого, серого тумана и что-то понять, что-то решить.

— Я долго ждал, Мария... Я думал... Я всё взвешивал... Я думал о тебе, о себе, о Григории... Долго боролся с собой... Спрашивал себя, не подлость ли это... Но, верь мне, я честно пришёл к убеждению,

что так будет лучше всего... Может быть, сейчас тебе кажется, что ты не должна этого делать. Но я знаю, что чем дальше, тем хуже будет, тем тяжелее вам обоим... Мария, я не сказал тебе всего, я уже давно хлопочу о переводе... Я могу уехать, когда захочу, и ты со мной, всё устроено.

— Я?

— Да... Я говорил с директором, он не будет возражать. Тебе остаётся только уложить чемодан -- и всё.

— Уложить чемодан...

— Ну да. Ты меня не слушаешь?

— Нет... Я слушаю...

— Так как же, Мария?

— Как? — повторила она бессознательно.

След, след на снегу... Воронцов взял её под руку.

— Иначе быть не может, Мария. Мы уедем вдвоём, начнём новую жизнь. Да?

Она машинально кивала головой, упрямо глядя в одну точку — след на льду. Осталось уложить чемодан... Там цветут цветы... Да, там, в Грузии, тепло уже... С Воронцовым, конечно, с Воронцовым...

— Рано или поздно тебе всё равно пришлось бы решиться, Мария, так зачем тянуть, откладывать? Мы мучимся все трое, а так...

Она машинально утвердительно кивала головой. Серый туман колебался, клубился, вырастал серой стеной, слова падали в него, как в пух, моментально теряя цвет и звук.

Воронцов оглянулся. Кругом никого не было, моросил дождь. Он поднёс к губам руку Марии и поцеловал её.

Высокая, стройная женщина остановила Марию в коридоре:

— Как пройти в кабинет директора?

— Я вас провожу,— предложила Мария и пошла вперёд.

Каблуки незнакомки мерно постукивали по паркету. Она поравнялась с Марией. Бледный профиль изящно вырисовывался на фоне опущённых вниз нолей чёрной шляпы. От неё пахло духами. «Что это за духи?»— машинально подумала Мария. Незнакомка шла медленно, но на её бледном лице видно было какое-то беспокойное ожидание, не гармонирующее с её безукоризненным туалетом, с чёрным, прекрасно сшитым платьем, с этой необычной шляпой.

— Сюда, пожалуйста.

Мария постучала и открыла перед ней дверь.

— Вот хорошо, что вы зашли, Мария Павловна,— сказал директор, и Мария осталась в комнате.

Высокая женщина подала директору узкую белую руку.

— Я приехала... Я ищу своего мужа... Оказывается, он должен быть здесь, у вас...— едва слышно сказала она прерывающимся голосом.

Директор рассеянно рассматривал её. Видимо, он думал о другом.

— У нас? А как фамилия?

— Анохин... Полковник Анохин... Илья Александрович...

Мария торопливо рылась в памяти. Полковник Анохин... Ах, ну, конечно...

— Сейчас посмотрим,— сказал директор и потянулся к большой книге, лежащей перед ним на письменном столе. Мария за спиной женщины отчаянно замахала руками. Директор поглядел на неё с удивлением. Полковница нервно оглянулась.

— Вы что, сестра? Вы его знаете?

Полковник Анохин... Это он умирал, когда пришло извещение о смерти Григория. Раньше в живот... Он умирал так долго, так страшно мучился.

— Я уезжала, то есть у меня некоторое время

не было постоянного адреса, поэтому... Только сейчас я получила известие, что его перевезли сюда, но это старое сообщение, так что он уж, вероятно... Куда он ранен?—спросила она и вытерла губы батистовым платочком с кружевами.

— Сейчас посмотрим,— смущённо бормотал директор, медленно перелистывая книгу. Страницы слипались в его пальцах, он дул в них.

— Анохин... Анохин... Когда, вы говорите, его привезли сюда?

— Ещё в ноябре,— вырвалось у Марии, и она тотчас прикусила губы, но было уже поздно.

— Вы его знаете, сестра, вы помните моего мужа?—спросила женщина и вскочила со стула. Мария увидела её бледные, почти прозрачные глаза и нервную дрожь, которая едва заметно, но быстро-быстро, как биение пульса, подёргивала веко левого глаза.

Директор перестал перелистывать регистрационную книгу и выжидательно, с виноватым видом смотрел на Марию.

— Ну да... Полковник Анохин... — прошептала она.

Высокая женщина подошла к ней.

— Скажите, умоляю вас, скажите скорее, что с моим мужем?

Голос её срывался на высокие, ломкие ноты. Мария не могла отвести взгляда от её странных, бледных глаз.

— Не волнуйтесь, прошу вас, сядьте, сейчас посмотрим,— вмешался директор.

Она послушалась и села.

— Полковник Анохин... Что делать... Полковник Анохин умер у нас в госпитале пятого декабря...

— Что?

— Умер... Тяжёлое ранение в живот, спасти было невозможно. Странно, что извещение...

— Меня же не было дома в это время,— начала было объяснять женщина и снова вытерла платочком совершенно сухие губы. Её пальцы, почти прозрачные, слегка дрожали. Она наклонила голову и снова устремила на Марию бледные глаза.

— Вы, может, ухаживали за моим мужем, сестра? Женщина пыталась говорить в непринуждённом тоне, не подходящем к тому, о чём говорилось. Мария внутренне съежилась в ожидании чего-то неизвестного.

— Да...

— Вы были при том... при том, как он умирал? Мария наклонила голову.

— Да...

— А вы помните, сестра... Правда, ведь это действительно давно... А здесь, наверно, умирает много людей, наверно, много, да?

— Процент выздоровлений...— начал было директор, но она прервала его, махнув прозрачной рукой.

— Тут ведь не в этом дело... Значит, вы помните? Пожалуйста, смотрите на меня, сестра, — сказала она повелительным тоном, и Мария, как загипнотизированная, взглянула в эти жутковатые, бледные глаза.

— Помню...

— Как это было? Вспомните, я хочу знать, я должна точно знать всё.

Под повелительным взглядом бледных глаз Мария послушно припоминала, как ученица, отвечающая в классе урок.

— Меня позвали... Сказали, что раненый из седьмой палаты умирает... То есть как раз полковник Анохин...

— Ага, из седьмой палаты,— повторила полковница, будто стараясь запомнить.— И что же?

— Ну, я пошла наверх...

— Да... И он действительно уже умирал?

— Да...

— И что? И что?

— Я поправила ему одеяло и переменяла лёд на голове...

— Лёд на голове... А он ведь был ранен в живот, правда?

— Да, в живот... Лёд, потому что температура...

— Понимаю. Он говорил что-нибудь? Говорил? Мария вспомнила. Женщина встала, не сводя с неё глаз.

— Пожалуйста, вспомните хорошенько. Это важно, это очень важно.

— Да. Он спрашивал.

Бледное лицо застыло в нервном ожидании.

— О чём спрашивал?

Это был свистящий, сдавленный шопот. Пальцы стиснули ручку стула с такой силой, что косточки побелели под тонкой кожей.

— Он спрашивал... Какая сводка... Потому что как раз...

— Что?

— Он спрашивал про последнюю сводку, потому что радио...

Женщина наклонилась вперёд, словно хотела броситься на Марию.

— И о чём, о чём ещё?

— И больше ничего. Я сказала ему, и потом он... потом он умер.

— А письмо?

— Какое письмо?— изумилась Мария.

— Должен же он был оставить письмо... Должно же быть письмо... Письмо мне... Раз он ничего не сказал...

— Никакого письма нет... Он же не мог писать...

— Ах да... Значит, вы утверждаете, что письма нет и что он спрашивал только про сводку?

— Да...

Женщина откинула голову на спинку стула.

— Сводка... Сводка...

Истерические рыдания прорезали воздух. Женщина давилась, захлёбывалась этим единственным словом:

— Сводка...

Директор подбежал к ней. Она с неожиданной силой оттолкнула его. Хрупкое тело рухнуло во весь рост на пол. Мария бросилась поддержать её голову. Бледные глаза закатились под веки, блеснули голубоватые белки. Сотрясаемое дрожью тело колотилось о паркет, из сухих губ вырывалось криком только одно слово: сводка.

А потом:

— Умер! умер! умер!..

Прибежал ещё один врач, сёстры. Мария вышла. Она бежала по коридору, подгоняемая страшным, звериным воем:

— Умер! умер! умер!..

Что же случилось между ними — между полковником Анохиным, который умирал, думая о последней сводке, и этой бледной женщиной? То не было отчаяние жены после смерти мужа. Здесь было что-то большее — смерть разрубила какой-то трагический узел или, вернее, навсегда обрубилa возможность его распутать. Какую тайну скрывали бледные глаза? Какую тайну унёс с собой в могилу полковник Анохин? Что она хотела узнать, о чём должен был ей сказать муж перед смертью, чего она ждала и не дожждётся уже никогда, потому что он умер?

Вдруг, как при ослепительном свете молнии, как при ударе грома и грохоте валящихся огромных стен, она почувствовала, увидела, услышала неслыханную истину: Григорий жив!

Это было не так, как там, над рекой, в разговоре с Воронцовым. Завеса с треском разорвалась, в гла-

за ударил ослепительный свет. Свет гремел, звенел, кричал тысячами голосов: Григорий жив!

И снова чудовищный страх: а если уже поздно? А если он умрёт как раз теперь, прежде чем она успеет добежать до дому, и уже никогда не будут сказаны слова, которые должны быть высказаны, и он унесёт с собой то, что было до сих пор, и даже не узнает, что она...

Скорей, скорей! Она забыла обо всём. Не надев пальто, она выбежала на улицу, не отвечая швейцару, который спросил её о чём-то. «Скорей!» — кричала улица. «Торопись!» — звенели трамваи. «Скорей, скорей!» — подгоняло сердце, бьющее в набат. — «Чтобы не опоздать, чтобы не опоздать!»

И в этом несущемся вперёд вихре затерялся доносящийся сверху голос, ужасающий, нечеловеческий вой бледной женщины: «Умер! умер! умер!..»

Через две, через три ступеньки. Её подгоняет несёт, как на крыльях, невероятная радость и страх, как бы не оказалось слишком поздно. Ключ, ключ в сумочке! Она не могла найти его, дрожащие пальцы путались в бумажках, в помятых рублях, в скомканном платочке. Нет, вот он! Трудно было попасть в скважину. Григорий не погиб, официальное извещение было ошибкой. Напрасно были пережиты эти жестокие, безнадежные дни, когда думалось, что его уже нет, что его уже никогда, никогда не увидят её глаза, что никогда, никогда не коснётся рука его руки, что никогда, никогда она не услышит его голоса...

С плеч внезапно свалилась непосильная тяжесть. Исчез злой кошмар, столько времени державший её в косматых лапах. Григорий жив, Григорий жив...

Если... если... если... великий боже, если не поздно... Не вынув ключ из замка, она пробежала коридор и ворвалась в комнату. Он был здесь. Живой. Сидел

за столиком у окна и с трудом чертил что-то своей единственной левой рукой.

Было что-то детски беспомощное, детски жалобное во всей его фигуре, в том усилии, какое он вкладывал в свою работу, ещё не привыкши к своему увечью. Волна беспредельной нежности нахлынула на Марию. Она обижала ребёнка, беззащитного, несчастного ребёнка. Теперь она увидела ещё новый облик своей любви. Это был уже не только муж, любовник, товарищ, — это было единственное, любимое дитя, которое нуждалось в её покровительстве, помощи, в её нежной заботе. Не знакомое ей прежде тепло залило её сердце.

— Гриша!

— Она бросилась к нему, упала на колени, обхватила его руками. Он был тут, тут, её Гриша. Она чувствовала близко-близко тепло его тела. Она захлебнулась счастьем.

— Марийка, — сказал он не своим, напряжённым голосом. Она почувствовала на волосах его руку. Взглянула счастливыми глазами. Да, да, это был её Гриша. Лицо её Гриши, смятое злой рукой войны, глаз, который обожгло пламя вражеского снаряда, вдавленный вглубь. Швы, шрамы, рубцы. Впервые она смотрела на них вблизи. И увидела их теперь иначе. Нет, неправда, что были дни, когда из-за этих шрамов и рубцов она не увидела своего Гриши, своей любви, своего счастья, своего единственного человека. Радость горела высоким-высоким пламенем. Он существует, он живой, можно прижаться к нему, почувствовать его руку на волосах, можно услышать, как громко бьётся его сердце...

— Марийка, — повторил он ещё раз. И Мария увидела, что в его глазах стоят слёзы.

Она встала. Обхватила руками любимую голову и прижала её к груди.

— Гриша, Гриша, Гриша... — повторяла она. Вот

она разыскала его после долгого пути. Вот она ходит из мрака в солнечную, лазурную долину. лый мир держала она в объятиях, целый мир. сеялся дурной сон. Бесследно исчез кошмарный И вот она явь — живой Гриша. Она прижалась бами к светлым волосам. Какие мягкие, какие то у Гриши волосы, какой знакомый запах...

— Ты жив! Жив! Жив! — шопотом повто она, захлёбываясь своей внезапной, счастливо достью. Она не опоздала, ничто не пропало, не не перечеркнули ледяные пальцы смерти...

— Ты жив! Жив! Жив!

Она присела на ручку кресла, прижалась к Ей не хотелось ни на минуту выпустить объятий, найденного, возвращённого издалека вого, собственного, самого близкого человека на

Он обнял её, но теперь её сердце не др при мысли, что другой руки нет. Ведь ес руки, молодые, здоровые, сильные руки. И его р всё та же, загоревшая, большая, мужская рука.

— Гриша, Гриша, Гриша...

Она покачивалась в такт этим словам, и его, как мать качает на руках дитя. Он был её дитя, её любовник, муж, весь мир в её обт

Губы коснулись высокого лба, тёмных с ясных глаз Гриши, его губ. Из глаз лились Чьи это были слёзы — её или Григория? Они вместе, смешивались, и на губах вкус их б и сладок. Они смеялись сквозь эти льющк смеялись из уст в уста тихим, счастливым

Нет, он ни о чём не спрашивал. Долже+ были никакие объяснения. Они снова были, ка де, — сердце к сердцу, глаза, утонувшие в глаза, понимающие всё без слов.

Текли секунды, минуты, часы... Вдруг взг упал на циферблат часов. Она вскочила.

— Боже, как поздно! Я тебя уморю го.

ша, давай устроим бал! Я вчера получила бутылку вина. Приглашаю тебя к себе!

— Принимаю приглашение! — склонил он голову с глубоким поклоном.

Сколько раз бывало прежде — свободный вечер, куда бы пойти. В театр? Наверно, уже нет гов. В кино? К знакомым? И наконец: «Знаешь, лучше всего устроим сами себе приём».

И всё, как к приёму гостей: чистая скатерть, белые лучшие тарелочки и единственный хрустальный бокал для папирос. Две рюмки: «Твоё здоровье, Мария! — Твоё здоровье, Гриша!»

И потом ещё долго вспоминали: «Помнишь, как тогда поздно легли, сколько времени проболтали?»

Мария засуетилась. Белая вышитая скатерть. Ничего, если она уже кое-где заштопана. Два стакана. Сыр и консервы, бутылка вина.

— Где это штопор? Открой, Гриша, — сказала осторожно, ставя на стол бутылку, и окаменела. Григорий лихо тряхнул волосами.

— Есть открыть бутылку!

Он сжал бутылку коленями, взял левой рукой штопор, и через минуту бутылка была открыта.

— Прошу покорно...

Ах, какой воспитанный! — рассмеялась она.

Григорий наливал вино, она придвинула стулья.

— Прошу сесть напротив, чин-чином.

— Нет, нет; я хочу тут, рядом...

Чувствовать тепло его плеча. Быть вплотную к нему. близко-близко. Чтобы ничто не отдаляло, не мешало им друг от друга, чтобы ничто не стояло между ними.

— Твоё здоровье, Марийка...

— Твоё здоровье, Гриша...

Вино было терпкое и пахло далёким солнцем, запахом с холмов под светлым и чистым небом. Далеко? Что это там говорил Воронцов? Соб-

ственно, он сказал только одно: что если бы не Соня...

— Ты жив, жив, жив! — запела она вдруг высокой, водопадом льющейся трелью.

— Вот так открытие!

Она улыбнулась, потёрлась щекой о его щеку. Это смешно, но ведь она только сегодня поняла, что он жив. Всё счастье этого слова, весь его радостный, победоносный смысл.

— Твоё здоровье, Гриша...

— За победу, Маруся...

— За победу...

Стаканчики зазвенели, как настоящий хрусталь. Вино было терпкое и пахло виноградом с далёких холмов, бодрящим, радостным запахом.

— Спой, Гриша...

Спят курганы тёмные...

Она закрыла глаза. Песенка Гриши, та самая песенка. В широкую степь, на простор родной страны вышел молодой парень, Гриша. Ветер развеивает его светлые волосы, ветер несёт крылатую мелодию. По степи идёт молодой парень, Гриша. Он широко распротёр руки. На славное дело идёт Гриша, и чистый ветер дует ему в лицо.

Голос Гриши, его голос. Нет, никто не пел эту песню так, как он. И там, в Берёзовке, и потом, и в мыслях, когда она была одинока и слышала голос Гриши, поющий где-то тут, вблизи, а быть может, только в её сердце...

Вот оно счастье, суровое и правдивое, глубочайшее счастье любви. Вот он, её Гриша, тот же, что в Берёзовке, тот же, что под яблонью, возвращается к ней с далёких путей войны, и она должна помочь ему, поддержать его в борьбе, которую он повёл со своим увечьем, в труде, который он решил продолжать своей единственной рукой...

Что же это был за дикий и невероятный кошмар течение последнего месяца? А может, это лишь влось — дурной сон?

— Марийка...

— Что, милый?

— Прости меня...

Она испугалась.

— Что такое, милый?

— Там, тогда... Видишь ли, мне показалось...

Она поняла.

— Ничего, ничего... Не нужно, хорошо так, как ... Ах, как хорошо!..

Да, да, он усомнился в ней, хотел уйти, бежать, хотел скрыться, оставить её одну, хотел быть для её мёртвым. Не эта ли минута его сомнения породила в ней то зло, не его ли сомнение бросило в её душу чёрное зерно, которое разрасталось злой травой и душило, затемняло жизнь? Кто первый виноват и кто дал начало? Кто первый согрешил против жизни, против веры, против любви? Теперь, впрочем, это было неважно, теперь всё было хорошо — она и Гриша, Гриша и она — беспредельное счастье...

— Спрй, Гриша.

Его беспощадно изуродовала рука войны. Но ведь ничто же не изменилось — это был он, её Гриша. Она находила его голос, и его улыбку, и его взгляд. Вокруг собрались все минувшие дни, связавшие их друг с другом, большие и маленькие радости, мимолётные печали и печали глубокие. Нет, этого не могли вычеркнуть, стереть, изменить вражеские штыки, вражеские удары. Гриша был Гришей, и так будет всегда, до конца жизни.

Но теперь слово «конец» было пустым, бессодержательным, не имело никакого значения, теперь было начало жизни, её светлое утро, восходящий день, юный и радостный.

— Гриша, Гриша, Гриша...

... Марийка...

Да, это был лишь злой невероятный сон. Одну минуту она хотела вызвать в памяти то, что почувствовала, увидев его в тот день, понять, как это могло случиться. Но увидела только знакомое, такое знакомое лицо, любимые черты, которые она столько раз целовала. Рубцы, шрамы — это было нечто внешнее, нечто несущественное. Гриша остался Гришей, и этого ничто не в состоянии было изменить. Ни его голоса, ни его улыбки, ни всего того, что было в нём самое существенное, что было действительно им.

Григорий был, как родная земля, изуродованная рукой врага. Родные города зияли ужасающими ранами, страшными шрамами. Родная земля была по-прана ногами захватчиков, железными гвоздями их сапог. Чёрные шрамы ожогов уродовали города и деревни, стройные здания фабрик и заводов были вдавлены в землю, перестали существовать посёлки, на земле лежали искалеченные леса. И в сто раз более любимой стала сейчас родная земля, в сто раз больше хотелось отдать ей все силы, чтобы залечить её раны, чтобы вернуть её к прежней жизни, чтобы она снова расцвела улыбкой под ласковым солнцем свободы.

— Плохо было без тебя, Маруся, ох, как плохо! — сказал он ласково.

И она знала, что он говорит не о том времени, когда они были разлучены, когда они были вдали друг от друга, а именно о том периоде, когда они встретились вновь, о дурных днях в госпитале и здесь, дома.

— Тихо, тихо, я с тобой, слышишь, всегда, всегда буду с тобой, — шептала она ему на ухо, словно поверяя величайшую тайну. — И ты будешь со мной, всегда, всегда, правда?

— Всегда, любимая...

— И не уйдёшь, никогда не уйдёшь от меня?

— Милая моя!

За окном смеркался день. Зажигались затемнённые фонари на улицах. Отсюда ясно были видны очертания башни и там, за ней, высокие стены Кремля.

Теперь она находила в себе слова, которые с таким трудом искала раньше, в госпитале. Она думала: «Всё страшное, что ты пережил, я заслоню от твоих глаз. Я снова научу тебя улыбаться, снова разбужу в тебе радость жизни, которая кипела в тебе. Уберу каждый камень с твоего пути, замечу каждое препятствие и во-время преодолю его. Я пододвину к твоей руке всё, что тебе понадобится, чтобы ты не почувствовал отсутствия другой руки. Я буду смотреть на тебя такими восхищёнными глазами, что никто не подумает, будто шрамы и рубцы уродуют тебя».

Но теперь всего этого уже не нужно говорить. Теперь всё это уже известно без слов — известно и ей и ему до глубины сердца.

Григорий вдруг вскочил.

— Включи радио, скорей включи радио!

Она воткнула в розетку штепсель. Разумеется, Григорий не ошибся и на этот раз. В чёрном диске что-то шумело и булькало, словно где-то поблизости кипела вода. А потом сладостно, захватывающе зазвучал сигнал:

Широка страна моя родная...

Серебристые, стеклянные, ясные звуки. Это уже был мотив песни. Это ласковым, мягким голосом говорила мать-родина. Чайания миллионов, и радость миллионов, и счастье миллионов было в этих звуках.

А Григорий знал, Григорий чувствовал. Словно он был тайными нитями связан с тем, что происходило там далеко. Он мог иногда спать крепким сном и просыпался с криком: «Включи радио, включи радио!» И тёмный диск сладостно, мелодично оповещал:

Широка страна моя родная...

Он бывал очень занят чем-нибудь и вдруг бросал всё и просил: «Радио, скорей радио!..»

Он никогда не ошибался. Он смотрел на пурпурные, золотистые, зелёные звёзды ракет, рассыпающиеся по небу, и говорил уверенно: «Сегодня будет ещё один салют».

И не ошибался. Словно он был физически связан с далёкими фронтами, с операциями армий, с родной землёй, тот или иной участок которой снова вырывали из рук врага.

Широка страна моя родная...

В прихожей прозвучал звонок. Мария поспешно выбежала. В дверях стоял Воронцов. Она отступила, словно её толкнули в грудь.

— Добрый вечер, Мария...

Она не приглашала его дальше, стояла в дверях, испуганно глядя ему в лицо.

— Поезд отходит завтра в десять утра. Будь готова, я заеду за тобой около девяти.

Она побледнела. Хотела сразу ответить, но голос отказался служить.

— Билеты, командировка, всё уже устроено.

Мария успокоилась. Тихо, но отчётливо, старательно выговаривая каждый слог, она сказала:

— Виктор, я никуда не поеду.

Он не понял.

— В пятницу мы будем на месте.

— Я никуда не поеду,— повторила она.— Не сердись, я...

— Мария, что случилось? Ещё вчера... Ведь всё было условлено? Мария!

Она наклонила голову.

— Нет, нет, Виктор, мы ошибались...

Он схватил её за руку.

— Что ты говоришь? Кто же тут ошибался?

Я? Нет, я люблю тебя, ты прекрасно об этом знаешь, давно люблю... А ты... Ты же мне ясно сказала...

— Я ошиблась,— повторила она.

— Как ошиблась? Ты сказала, что не любишь меня, какая же тут может быть ошибка?

В комнате громко раздавался голос диктора, читающего приказ. Она прислушалась, желая узнать, какой город.

— Мария, почему ты не отвечаешь?

Она опомнилась.

— Да, конечно, я сказала, что не люблю тебя, но согласна с тобой уехать...

— Вот видишь!

— Но я ошиблась...

— Слушай, не доводи меня до сумасшествия! Что случилось?

— Ничего, просто я не знала одной вещи...

— Какой вещи?

— Что я... Что я...

— Ради бога, Мария, скажи же, наконец, в чём дело!

Она посмотрела поверх головы Воронцова на дверь. Глубоко набрала в лёгкие воздуху.

— Потому что я... люблю Григория.

Он рванулся к ней.

— Мария, что ты!

А к ней в этот момент вернулось спокойствие. Она почувствовала — в сердце — высоким ровным пламенем горит счастье. То пламя, которое давало ей силу и радость в тяжёлые дни. То пламя, которое давало силу правды её словам, позволяло спасать людей, выводить их из мрака отчаяния. И вот оно снова ней — её сила, её воля, её вдохновение.

— Ты хочешь остаться с ним?— спросил он мёртвым, глухим голосом.

— Да, я хочу остаться с ним,— повторила она, точно текст присяги.

— Такая жертва, Мария...

Она прервала его:

— Ты ошибаешься, это не жертва, Виктор.

— А что же это по-твоему?

— Просто... Просто любовь,— сказала она тихо, отчётливо. Воронцов вздрогнул. Голос её был звучен, полон музыки. Он взглянул на неё, словно увидел её впервые. Она стояла перед ним в ореоле светлых-светлых волос, в золотистом облачке, пронизанном светом. Спокойное лицо — прозрачные, безмятежные глаза, смотрящие прямо в его глаза. Он изумился. Перед ним стояла прежняя Мария, Мария, какой она была до ложного сообщения о смерти Григория. Это была та Мария, которую он помнил со времени её счастливых дней, когда она была вместе с Григорием.

Исчезли тени у губ и под глазами, словно кто-то одним движением стёр с этого лица переживания долгих месяцев и вернул ей почти детскую свежесть, освещённую внутренним светом.

Да, это была прежняя Мария, и тут уж не о чем было говорить.

— Ну, так... желаю тебе счастья, Мария,— сказал он, зачем-то оглядываясь, словно искал чего-то, хотя портфель он держал в руках, а шляпы не снимал входя.

— Я счастлива. Не сердись на меня, Виктор... Ты...

— Оставь,— резко прервал он.— Обо мне тебе нечего беспокоиться.

Из комнаты вдруг раздался голос Григория:

— Мария, скорей!

Она побежала раньше, чем Воронцов успел заклопнуть за собой дверь.

— Где ты пропадаешь? Первый выстрел!

Она присела на ручку кресла, обняв Григория за шею. Молния разорвала воздух. Где-то далеко блеснул красный свет. Затрещали ракеты и рас-

сыпались в тёмном небе золотыми, зелёными, пурпурными звёздами. Загремел и широко прокатился гром. Земля застонала. Звёзды падали вниз, оставляя на небе цветной след. В воздухе ещё висел последний, опоздавший, красный фонарик, медленно, как лист на ветру, опускающийся к земле, когда эхо грома утихло и за окном распростёрлась тьма.

— Два,— считал Григорий, и снова запыхал ослепительный свет. Из мрака выступили зубчатая кремлёвская стена и кремлёвские башни. Пространство окрасилось яркой голубизной. Загремели залпы орудий, стало светло, как днём.

— Там, там, смотри!

Зелёным фонтаном взорвались ракеты. Рассыпались в воздухе и стали опускаться вниз, как ветви плакучей берёзы. С минуту они стояли в воздухе, а когда исчезли, после них осталось облачко золотистой пыли, трепетная тучка, светящаяся в тёмном воздухе.

— Три...

Она крепко сжала руку Григория, вся напряглась, ожидая нового грома. Ослепительный блеск, дождь звёзд.

— Золотые, золотые!

Где же это было? Золотые звёзды горели перед счастливыми глазами в чёрных ветвях яблони. Росла, шумела, поднималась яблоня, огромные ветви простирались далеко, до самых краёв родной земли. Яблоня закрывала могучей кроной всю родную землю, от границ до границ. Пылали золотые звёзды, рубиновые звёзды, изумрудные звёзды в чёрных ветвях яблони. Глядели счастливые глаза, улыбались счастливые губы, сквозь сладость текущих из глаз слёз, цветала звездами счастья. Войска пылающие звёзды, пылающие во мраке воды.

тихо сказал Григорий.

Она прижалась к нему сильнее, тесно прильнула, как дитя. Это был он, её Гриша. Для него гремели орудия и небо пламенело дождём цветных звёзд. Это его мужеству, его ранам, его крови слала привет столица родины — Москва. Она сбоку посмотрела на искажённое лицо мужа. Его ясно было видно в заливающей комнату блеске. В лице Григория было вдохновенное, рвущийся в полёт внутренний свет, сообщавший ему нечеловеческую красоту. Мария ласковым движением осторожно коснулась шрама на щеке под глазом. Это сюда угодила рука войны. Сюда нанёс враг свой удар. В честь этого шрама на лице любимого человека бьют орудия и зарево освещает ночь.

Он осторожно обнял её своей единственной рукой. Она погладила пустой рукав, в котором когда-то ощущалась сильная рука Григория, загоревшая болевшая рука с белым шрамом на пальце. Этой рукой прорубал Григорий путь к свободе в железном вражьем строю. Этой рукой он разорвал цепи, которыми враг хотел сковать родную землю.

— Десять!

Вейска шли, шли, шли на запад, красные звёзды пылали на шапках, звёзды свободы, надежда свободы, радостное знаменье. Вместе с ними шёл Григорий — это ничего, что его рука осталась где-то далеко, на неведомом поле боя. Он шёл ровным и твёрдым шагом, с высоко поднятой головой. Её Григорий. Один из миллионов. Её Григорий — один-единственный в мире. Шли, шли на запад путём побед все — погибшие в дни отступления, павшие в чёрные дни, пронесшиеся на родине, раненые, слепые, безногие. Они шли с армией — в её силе была также и их сила. Крови была их кровь, в её мужестве было мужество. Нет, ничто не было потеряно, что далеко любви, и ни одно слово ненависти, и ни одно страдание. Всё было